

С.Н.Сергеев-Ценский

Севастопольская страда

часть III

Глава первая. Канонада продолжается

Глава вторая. Балаклавское дело

Глава третья. Канун битвы

Глава четвертая. Инкерманское побоище

Глава пятая. Победенный главнокомандующий

Глава шестая. Разгул стихий

Глава седьмая. Казнокрады

Глава первая. Канонада продолжается

I

На батарее № 10 утром 6 октября спешно выстраивались обе бывшие там роты артиллеристов: приехал вице-адмирал Нахимов.

Старый моряк, всего только год назад уничтоживший не только турецкий флот, но и сильные береговые форты Синопа, не мог успокоиться на одних только донесениях о «благополучии».

С шестого бастиона он видел, что даже промежуточное пространство между этим бастионом и батареей № 10 было сплошь засыпано ядрами и осколками разрывных снарядов; что же могло в таком случае остаться от батареи?

Он знал, что под Синопом был он впятеро слабее, чем союзники перед севастопольскими фортами, — вот почему, не совсем доверяя донесениям, отправился он на батарею сам.

Он приехал верхом, к чему начал уже привыкать в последнее время. Хотя при спешной езде брюки его задирались к коленям, но он и к этому привык, как к неизбежному неудобству верховой езды.

Командир батареи, полковник Желтышев, заставивший солдат с раннего утра убирать двор и складывать неприятельские ядра и неразорвавшиеся снаряды в кучи, встретил Нахимова с рапортом при въезде.

Оглядев внушительные кучи ядер, Нахимов сказал Желтышеву:

— Однако они не поскупились на это добро! Сколько навалили-с, ого!.. На бастионах за целый день все-таки меньше-с!

В этом замечании была некоторая доля признания преимущества флота перед береговыми батареями вообще, пусть флот даже был неприятельский, и Желтышев, некрупный, но энергичный человек, с простоватым, но весьма себе на уме лицом подрядчика, это уловил и отозвался весело:

— Засыпали, ваше превосходительство! Совершенно засыпали!.. Я приказал считать, и насчитали мои молодцы две тысячи семьсот ядер... Но, во-первых, далеко не все еще убрали, а затем — недолеты: очень много ядер их падало в море у берега, — затем перелеты, затем гранаты и бомбы... Думаю, что одни мы им стоили не меньше, как двадцать тысяч выстрелов!.. Говорю так из осторожности, но думаю, что гораздо больше, чем двадцать.

— Возникает вопрос: сколько же они выпустили по всем фортам, — покачал головою Нахимов и добавил: — Ведь они с первых же выстрелов были в дыму, как же вы в них стреляли?

— Орудия наши были пристреляны, когда еще корабли не закрылись дымом.

— Но ведь они все-таки двигались, — перебил Нахимов. — Не замечено было вами: не потопили ни одного корабля?

— Хотел бы этим порадовать, но из-за дыма разглядеть не было возможности... Даже и солнца не было видно. Уверен все же, что всыпали мы ему здорово, и сегодня он уже едва ли рискнет подойти!

— молодецкато подбросил голову полковник.

— Сегодня будут чиниться... Сегодня не ждите-с, нет... А как у вас тут, — много ли потерь?

— Восемь убито, двадцать два ранено, ваше превосходительство, — и это считая также убыль в людях двух рот прикрытия от Минского полка... Из орудий подбито только три, и у семи повреждены лафеты.

— Для такого огня?.. Невероятно мало! — удивился, как моряк, Нахимов и даже несколько подозрительно поглядел на противника. — Очень удачно отделались, очень, очень... — бормотал он, окидывая глазами всю обширную площадь батарей с пятью десятками орудий. —

А скажите мне, если бы не был закрыт вход на рейд, что могло бы быть тогда, а?.. — спросил он быстро.

— Тогда мы, конечно, утопили бы два-три их корабля на рейде! — тут же ответил, как на знакомый уже вопрос, Желтышев.

— Д-да, утопили бы, я не сомневаюсь, — как будто даже обиженно отозвался Нахимов, — но пока утопили бы, они нам могли бы наполовину уничтожить арсенал-с, наполовину город-с! А форты были бы обстреляны с тылу-с! И я даже уверен-с, что они пытались форсировать рейд, почему и подходили близко к заграждению-с!.. Они могли бы также высадить десант и захватить вашу батарею с суши-с, — вот что они могли сделать-с!

Нахимов даже разгорячился, как будто сам в воображении командовал огромной атакующей эскадрой союзников.

— Не забывайте того, что они были в десять раз сильнее по огню, чем все форты вместе взятые-с, и что у них стояли при орудиях матросы, а не солдаты... Да... вот-с... А как действовали ваши артиллеристы? — спохватился Нахимов.

— Выше всякой похвалы, ваше превосходительство! — восторженно ответил Желтышев, точно был он и не пожилой уже человек и не полковник, а восемнадцатилетний прапорщик вроде одесского Щеголева.

— А-а! — протянул Нахимов, тем самым как бы предлагая полковнику высказаться полнее и обстоятельней.

— Сначала они были, конечно, как ошпарены кипятком, — продолжал возбужденно Желтышев, глядя снизу вверх в голубые глаза Нахимова.

— Потом горячились зря, палили в белый свет, но скоро взяли себя в руки, разделись, — жарко стало! — и потом уже действовали отлично: выше всякой похвалы.

— Представьте список особо отличившихся на предмет награждения, — казенной фразой отозвался Нахимов, но левая рука его, дотянувшись до плеча полковника, задержалась на нем, точно он хотел ласково погладить командира батареи за то, что он в восторге от своих артиллеристов.

— Слушаю, ваше превосходительство, — отозвался полковник. — Вот этот фас батареи, — показал он на орудия, обращенные жерлами к

рейду, — бездействовал, и прислуга отсюда сама перешла к действующим орудиям на помощь... Так же и для подноски бомб из погреба, потому что у нас в начале боя при каждом береговом орудии находилось только по двадцать бомб... Был такой еще случай с одним часовым из рот прикрытия, ваше превосходительство, — спешил рассказать полковник. — Он стоял на часах вот там, где теперь все разворочено. Там был склад ручных гранат, при них полагается по уставу пост... Вдруг попадает в этот склад граната... совсем другого свойства, отнюдь не ручная, — и весь склад взорвался. Но была такая канонада, что никто этого взрыва стекляшек и не расслышал, один только часовой остался не у дел, хотя жив и невредим... Ждал смены — смены нет. Оказалось, в прикрытии его разводящего ранило. Смены нет, однако и склада уж тоже нет. Спрашивается — зачем же ему стоять? Только чтобы зря его ранили или убили? Я его снял с поста своею властью. Однако он к прикрытию не пошел. «Дозвольте, говорит, мне тут что ни что делать». — «Нечего, говорю, тебе тут делать, пехоте». И как раз мимо шел с двумя зарядами из погреба канонир Прокопенко, а в него ударило ядро и убило наповал. Другой бы, видя такое, растеряться бы мог, а этот часовой ко мне: «Дозвольте заряды вместо него донести!» Дозволил, конечно. Так он и работал на подноске зарядов и бомб до конца пальбы, а ведь от погреба до орудий четыреста шагов!

— Вот-с, вот-с, видите-с!.. Вот и его тоже в список внесите-с. Непременно-с!

Глаза Нахимова лучились, и уже обе руки его легли на плечи Желтышева, когда он говорил этому артиллерийскому полковнику, точно лейтенанту флота:

— Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы с вами только пружины, которые на него действуют, да-с! Матрос управляет парусами, он же наводит орудия на неприятеля, он же бросится на abordаж, — все сделает матрос, если мы с вами забудем о том, что мы — помещики, дворяне, а он — крепостной! Он — первая фигура войны, — матрос, да-с! А мы с вами — вторые-с! Он — матрос, — вот кто!.. Так же и солдат! — заметил вдруг Нахимов, что он говорит с сухопытным полковником и что в отдалении, выстроившись, ждут его

не матросы, а солдаты-артиллеристы.

И он пошел к ним, наконец, высокий, сутуловатый, в своем длинном сюртуке с густыми эполетами, с георгиевским большим за Синоп полученным крестом на шее и с полусаблей на портупее, продетой под эполет. Брюки его внизу от частой верховой езды были сильно помяты, встопорщены, покрыты гнедой лошадиной шерстью, когда он подходил к артиллеристам.

— Здорово, друзья! — звонко крикнул он, приложив пальцы к козырьку фуражки.

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — радостно отозвались роты.

— Благодарю вас!

— Рады стараться, ваше превосходительство! — загремели солдаты.

— Вы защищали Севастополь как герои! — взволнованно продолжал Нахимов. — Вами гордится наш славный город!.. Если все мы будем действовать, как вы, то мы скоро прогоним от стен Севастополя врагов, как вы прогнали союзный флот... с большим уроном для них прогоним!.. От всей души благодарю вас, друзья! — и он поклонился солдатам, держа руку у козырька фуражки.

Неистовым «ура» отвечали на это солдаты, и расстроился парадно-чопорный строй. Никто не командовал «вольно!» — это сделалось как-то само собою, что фронт — «святое место» по правилам дисциплины того времени — сломался, и разнообразно изгибались солдатские шеи, чтобы можно было как следует разглядеть необычайного адмирала, который только что называл их «друзьями» и о котором все слышали как об адмирале «геройском».

— Господа офицеры! Прошу ко мне! — крикнул Нахимов.

Офицеры вышли. Их было не так и много в двух ротах.

Каждому из них, от капитана до прапорщика, Нахимов жал руку, вглядываясь в них пристально и признательно, а уходя с батареи, окруженный ими, он говорил:

— Союзники думали, что Севастополь — это другой Бомарзунд, где и казармы-то не были достроены и орудия были малых калибров против всего флота Немира... Теперь, наконец, они будут знать, что такое Севастополь!.. Просто уму непостижимо, что писали о Синопском бое в

английских газетах и как это печатали! Писали даже, что один из моих лейтенантов ворвался в разбитый турецкий корабль, нашел там в каюте капитана этого корабля, который, натурально, хотел ему сдать... Но он, лейтенант мой, будто бы убил этого турецкого капитана, отрезал от убитого кусок мяса, — не сказано только было, откуда именно отрезал! — и... и, представьте себе, будто бы съел сырьем-с! Да-с, сырьем-с! И вот за этот подвиг был представлен мною к Георгию четвертой степени, каковой и получил-с! Вот каковы эти английские журналисты-с! Мы, по их мнению, людоеды-с! Однако мы вот отбили атаку огромного их флота и заставили уж замолчать французские батареи на Рудольфе... А сегодня-завтра, может быть, и английские молчать заставим, если будем все действовать, как вы вчера. И наш... Владимир Алексеич... может тогда спать спокойно... в своем гробу... Он свое дело сделал... хорошо сделал... А мы по его стопам...

В это время Нахимов подошел уже к лошади, оставленной под присмотром казака-ординарца, и мог, отвернувшись к ней, смахнуть движением руки непрошено проступившие на глаза слезы.

Когда же привычным уже движением взобрался он на своего гнедого, то обратился к офицерам голосом уже вполне окрепшим и словами начальнически точными:

— Из приказа по гарнизону вам, господа, известно, что похороны генерал-адъютанта, адмирала Корнилова назначены на пять с половиной вечера... Так вот, господа, прошу... свободных от нарядов по службе к этому времени в Михайловский собор...

## II

А канонада между тем продолжалась, и только на бастионах пятом и шестом, против которых действовали французские батареи, могли бы сказать, что интервенты значительно ослабили свой огонь; севастопольцы же слышали, что так же грохотало и так же визжали и тупо шлепались ядра на улицах и рвались бомбы.

Очень немногие из севастопольцев знали, что вечером 5 октября английские батареи Зеленой горы, почти сравнявшие с землею третий бастион и соседние с ним редуты, как нельзя лучше подготовили весь

этот участок обороны для штурма, и штурм этот очень трудно было бы отразить, если бы в дело были пущены осаждающими большие силы. Бруствер был уничтожен, ров завален, собрать сразу к этому месту достаточное число защитников было невозможно, и если бы англичане заняли третий бастион, то они зашли бы в тыл Малахову кургану и таким образом с одного удара могли бы занять всю Корабельную сторону.

Однако они не решились на штурм, и в этом именно была победа, одержанная Севастополем над интервентами в памятный день 5/17 октября: встретив сопротивление, равное нападению, противник был побежден морально и не решился сделать то, на подготовку чего затратил так много средств и усилий.

А ночью с 5-го на 6-е на третьем бастионе работало пятьсот рабочих от Московского полка и двести саперов, и на всем протяжении был поднят и сделан еще выше, чем прежде, вал, прорезаны тринадцать амбразур, устроены два новых траверса и поправлены пять старых; исправлено семь орудийных платформ; заменены новыми подбитые орудия больших калибров, — между ними и бомбические, — и наутро третий бастион заговорил с англичанами еще внушительнее и громче, чем накануне, а пороховые погреба на нем были теперь обсыпаны землей так, что уже не боялись ланкастерских пушек.

Французы же не в состоянии оказались привести за ночь свои батареи в порядок и сконфуженно промолчали весь этот новый день.

Третий бастион восстанавливал из развалин Тотлебен лично, на остальные же он разослал подведомственных ему саперных офицеров. Но до поздней ночи направлял большую и сложную работу в тылу по доставке на бастионы всего необходимого Нахимов.

Это вышло как-то само собою, что после смерти Корнилова все обращались за приказаниями к нему, минуя почтенных старцев, — генерала Моллера и адмирала Станюковича, считавшихся в Севастополе выше его по положению.

Великолепный флотоводец, Нахимов считал, что на сухопуте как администратор он значительно уступал Корнилову в умении все охватить и все рассчитать, почему охотно и уступил Корнилову главную роль в обороне города и порта. Но на его стороне

сравнительно со всеми другими было то, что все о нем знали: полное забвение себя и своих личных интересов, раз дело касалось службы.

Когда отец его, екатерининский секунд-майор, отправлял двух своих белокурых красивых рослых ребят, Платона и Павла, в морской кадетский корпус, он, конечно, не справлялся у них, любят ли они, родившись в Смоленской губернии, море и хотят ли стать моряками. Его решение было совершенно случайным, старший из двух братьев, Платон, моряком так и не сделался. Он остался воспитателем в том самом корпусе, который окончил, потом перешел на службу в Московский университет.

И попробовал бы кто-нибудь очернить инспектора студентов Платона Степановича Нахимова, на того двинулся бы сплошной и неодолимой стеною весь возмущенный университет, так как в нем не было другого столь же порядочного, честного до святости, самоотверженного и истинного друга студентов, как этот чудаковатый с виду и одиноко живший человек.

Но младший из братьев, Павел, почему-то вышел моряком, причем моряком совершенно исключительных достоинств. С ранней молодости удивлял он даже своих товарищей как не знающий отдыха, неутомимый, не то чтобы службист, а буквально фанатик морского дела. Именно это скверное понятие «службист» к нему и не шло совсем, так как «выслуживаться» он никогда не стремился. Он просто полюбил от молодых ногтей войну с непокорной стихией — морем, и весь без остатка отдался этой любви. Поэтому никто из сверстников лучше его и не знал всех тонкостей морского ремесла, и в пятнадцать лет он был уже мичманом, а в восемнадцать был замечен Лазаревым, командовавшим тогда фрегатом «Крейсер», и взят им с собою в кругосветное плавание.

Лазарев тогда был только капитаном 2-го ранга, но он уже выдавался как талантливейший моряк русского флота, но он уже притягивал к себе, как магнит, всех тех из молодежи, кто мог бы со временем сильно двинуть вперед дело устройства флота по его, лазаревскому, пути. Так же были притянуты им один за другим к себе и молодой Корнилов, и Новосильский, и Истомин...

Фрегат «Крейсер» в те годы был признанным образцом военного судна, и молодой Нахимов считал для себя за большую честь служить у Лазарева на таком фрегате, да еще в иностранных морях.

Вояж этот продлился три года, а спустя еще три года и Лазарев, командовавший тогда кораблем «Азов», и Нахимов, и Корнилов, служивший на том же корабле, отличились в знаменитом Наваринском бою, за который сам Лазарев произведен был в контр-адмиралы, а Нахимов получил георгиевский крест и чин капитан-лейтенанта, став таким образом штаб-офицером в двадцать четыре года.

В те годы он считался по службе в Балтийском флоте, а в Черноморский перетасил его тот же Лазарев, когда, после смерти адмирала Грейга, он стал главным командиром этого флота.

И корвет «Наварин», и фрегат «Паллада», и корабль «Силистрия», которыми последовательно командовал Нахимов, были неизменно образцовыми судами: по ним равнялись все остальные суда, и так велик был авторитет Нахимова в морском деле, что заслужить его одобрение считали счастьем и те, кто нисколько не зависел от него по службе, но был моряком не по одному только названию, а по натуре.

Когда один известный художник обратился к нему как к герою Синопского боя, с просьбой позволить ему написать его портрет маслом, Нахимов недовольно ответил:

— И-и, голубчик, что я — светская дама, что ли? Совершенно это лишняя затея-с! — и отказал художнику.

Один поэт прислал Нахимову как герою Синопа хвалебную оду. Нахимов повертел в руках лист бумаги, на котором старательно, — заглавные буквы в завитушках, — была написана эта ода, бросил ее в корзину под столом и сказал одному из своих флаг-офицеров:

— Автор этих стихов, должно быть, человек богатый — вон какая бумага у него хорошая, еще и с фамильным гербом... Прислал бы несколько сот ведер кислой капусты для героев Синопа — матросов, было бы куда лучше-с!

Это было одно из его многочисленных чудачеств — полное равнодушие к искусству, так же, как, например, и ненависть к писанию всяких казенных бумаг. Читал он эти бумаги внимательно, если нужно было их подписывать или выполнять то, что ими

предписывалось, но никак не мог заставить себя самого изъясняться официальным языком на бумаге: это делали за него его адъютанты, флаг-офицеры.

Он жил одиноким, старым холостяком, как и его старший брат в Москве, но бирюком отнюдь не был. Напротив, он был всегда радушным хозяином, когда к нему собирались гости, и охотно помогал денежно, когда к нему обращались.

Этим неумением его отказывать кому бы то ни было в деньгах часто злоупотребляли даже его сослуживцы, люди широкого образа жизни.

Он не отличался красноречием, однако никто из командиров во флоте не мог так говорить с матросами, как он, потому что никто лучше его не знал ни быта, ни нужды, ни сердца матроса, и матросы его любили, хотя он был очень требователен по службе. В разговоре между собою они не называли его ни «адмиралом», ни «Нахимовым», — он был у них просто «Павел Степаныч».

Воспитанный на парусном флоте, знавший в совершенстве все, что касалось управления парусами, способный часами наблюдать в трубу с Графской пристани не только корабли, входящие на рейд и выходящие в море, но даже и шлюпки, идущие под парусами, Нахимов был поэтом паруса, хотя и видел все преимущества паровых судов, особенно снабженных винтом. Ему нужно было сначала отвыкнуть от парусного флота, чтобы потом привыкнуть к паровому, и то и другое были для него очень длительные и, пожалуй, даже мучительные процессы.

Корнилов как начальник штаба флота жил до войны в Николаеве, где находилось управление флотом, но когда бы он ни приезжал в Севастополь, он останавливался у своего старшего по службе товарища — Нахимова: им было что вспомнить и было о чем говорить, не истощаясь, так как состояние флота никто не знал лучше, чем Нахимов. Кроме того, Корнилов видел, что из всех адмиралов один только он без всякой зависти относится к его блестящей карьере.

И вот в полдень 5 октября на Нахимова жестоко свалилась почти вся тяжесть, какая лежала на его друге, между тем как он — адмирал, выброшенный на берег, — чувствовал себя и без того тяжело.

Он не то чтобы растерялся, но он метался по осажденному городу в

огромной тревоге за все и за всех кругом, и небольшому гнедому коньку его никогда раньше не приходилось столько скакать в разных направлениях.

Раза три в этот день пришлось Нахимову проезжать мимо Михайловского собора, где было поставлено тело Корнилова в ожидании погребения и где толпились моряки и пехотные, прощавшиеся с телом.

Всякий раз Нахимов останавливал здесь гнедого, входил в собор и несколько минут простаивал около гроба, всматриваясь в черты лица, оставшиеся волевыми и после смерти.

И всякий раз он опасливо оглядывал собор, особенно его купол, не попала бы в него шальная, наудачу пущенная бомба большого калибра или конгревова ракета, вполне способная пробить купол и обрушиться вниз. Купол казался ему наиболее непрочным из всего этого обширного здания, а тело того, кто вдунул всю, без остатка, свою душу в дело защиты порта, флота и города, лежало как раз под куполом.

Канонада гремела; и если флот интервентов, выпустивший накануне, как он подсчитал приблизительно, не менее чем полтора ста тысяч ядер, бомб и гранат, теперь не рисковал уже подходить близко к береговым батареям и вдали зализывал свои раны, и если большая часть французских мортир и пушек молчала, то английские ревели по-прежнему не умолкая.

### III

Канонада не умолкала и в шестом часу вечера, когда протяжно, печально, глухо зазвонили в колокола в Михайловском соборе, сзывая на панихиду по Корнилове. Речей не было. С телом прощались молча. В церкви были только те, кто знал Корнилова, а им не нужно было в пышных словах разъяснять, кого именно они потеряли.

При виде этого большелобого, с сурово сжатыми губами адмирала в гробу другие адмиралы, и генералы, и полковники, и майоры, и капитаны флота и армии чувствовали себя наполовину побежденными врагом, и это чувство было жуткое и тяжелое чувство.

Человек, который мог, обращаясь к полку солдат, сказать

знаменательные слова: «Ретирады не будет! А если услышите, что я вам скамандую ретираду, колите меня штыками!» — сказал о себе все, и никто не мог бы сказать над его телом ничего сильнее, короче и ярче.

Та воля, которая сплотила все силы и средства для защиты города в часы и дни полной растерянности, разброда, преступной паники, вдруг иссякла, — и в ком же и где было искать новый источник подобной же сильной и зрячей воли?

Может быть, расстроила нервы неслыханная, убийственная, оглушающая канонада, не прекращавшаяся два дня, но плакали здесь, в соборе, многие, даже и те, которые не знали о самих себе, что они умеют плакать.

И Нахимов уже не прятал здесь своего личного горя: он стоял со свечой, как и все, ближе всех других к гробу, забывчиво слегка кивал головой, совсем не в такт панихидному пению, и слезы скатывались в его белесые, едва прикрывавшие губу усы.

Вместе с племянником покойного адмирала, гардемаринном Новосильцевым, который до похорон не собрался уехать в Николаев, был в церкви и Виктор Зарубин; отец же Виктора, как это ни было трудно для него, не захотел отстать от сына, раз дело шло о похоронах самого Корнилова, и тоже пробрался внутрь собора.

Он стремился вытянуть свою сведенную от раны ногу, чтобы стать хоть чуть-чуть повыше и разглядеть побольше.

Ведь, кроме Корнилова в гробу и Нахимова около гроба, тут были, озаренные слабым и неверным желтым светом мерцавших свечей, и старый Станюкович, крестившийся частыми и бессильными крестиками около сухого лица, точно сгонял с него докучную муху, и Истомин, урвавший час от своей тяжелой вахты на Малаховом, и оба Вукотичи, и Зорин, и много его бывших сослуживцев по затопленному кораблю «Три святителя»...

И всех их хотелось видеть ему, наполовину ушедшему от жизни, у тела того, кто ушел от нее совсем. Он знал великую торжественность подобных минут, когда люди как бы дают свои клятвы умершему, даже если никто из живых рядом не слышит ни одной клятвы.

Но панихида была недолго. Она и не могла затягиваться, потому что

суровы были предночные часы: канонада гремела, ядра летели в город; может быть, уже скоплялись под прикрытием глубоких балок против третьего и четвертого бастионов войска союзников для штурма.

Около собора выстроились батальон моряков, батальон пехоты и полубатарея в четыре орудия. На рейде корабли скрестили реи и приспустили свои флаги и вымпела. Гроб вынесли на паперть. Вынесли и бархатную подушку с многочисленными орденами Корнилова. Певчие пели «надгробное рыдание»... Траурная процессия потянулась по Екатерининской улице туда, где незадолго до высадки интервентов так торжественно был заложен новый Владимирский собор над склепом, в котором хоронили года три назад адмирала Лазарева.

Когда Лазарев командовал кораблем «Азов», он зашел однажды в каюту своего молодого лейтенанта Корнилова. Тот сидел за чтением французского романа. Кипа французских же романов лежала у него и на полке каюты.

Лазарев был возмущен таким легкомыслием чрезвычайно.

— Вы, даровитый, умный человек, тратите драгоценное время на чтение всякой чепухи! — закричал он. — Я вам запрещаю это как ваш начальник!.. Понимаете? Раз и навсегда запрещаю!

Он собрал энергично все книги лейтенанта и выкинул их через окошко каюты в море.

— Что же все-таки я должен читать? — ошеломленный, спросил Корнилов.

— А это уж я вам принесу сейчас сам, что вы должны читать!

И капитан Лазарев вышел, но скоро вернулся с кипой совсем других книг. Это были сочинения главным образом по морскому делу.

Прошло четверть века, и ученик стал достоин учителя настолько, чтобы лечь с ним рядом после смерти в одном склепе.

Процессия двигалась. Певчие пели «вечную память» истово и выразительно, чувствуя, что не лгут при этом, как приходилось им поневоле лгать обычно. Темнело быстро. Зажгли факелы.

А ядра и бомбы все еще летели в город.

И одна из бомб разорвалась как раз в хвосте процессии, где шли

обыватели. Капитан Зарубин, припечатывая каждый свой шаг толстой палкой и вывертывая замысловато ногу, плелся недалеко впереди и слышал разрыв бомбы, и потом бабий визг и глухой вопль.

Толпа сгрудилась сзади. Донеслись крики:

— Что, аль попало в кого?

— Ну, а как же! Известно, попало!

Зарубин остановился в нерешимости, идти ли дальше за гробом Корнилова, или повернуть сюда, где в кого-то попало.

Услышал суровые мужские слова:

— Где тут носилок искать на улице, — носилки! Берись за ноги, за руки, тащи прямо в часовню! Там люди найдут, чья она!

— Неужто насмерть? — жалостно спросил Зарубин какого-то бородатого.

— Ну, а как же? Известно, насмерть, — ответил бородач. — Баба ведь... Много ей надо? Осколок в брюхо воткнулся — вот и готово.

Зарубин покачал головой, пробормотал задумчиво:

— Что же тут скажешь, а? Бог знает, что он с нами делает...

Виктор был далеко впереди, жена и дочери оставались дома. (Они перебрались с Северной стороны вечером накануне, когда прекратилась пальба.) Успокоившись за себя и своих, Зарубин заковылял догонять процессию.

Полыхали факелы, придавая всей картине необычайный вид, на обширном, отгороженном забором месте заложенного собора толпились офицеры разных чинов. Батальоны матросов и пехоты и четыре орудия дали положенное число залпов холостыми зарядами.

В последний раз приложились губами к мощному, но холодному корниловскому лбу те, кто был ближе, и вот уже начали забивать крышку гроба.

— А здесь ведь найдется, пожалуй, и для меня местечко! — оглядывая при факеле обширный склеп, неожиданно для нескольких адмиралов, которые удостоились туда войти, сказал Нахимов.

— Ну, что это вы, Павел Степаныч! — укоризненно, вполголоса отозвался на это Истомин.

— А что вы думаете? Не заслужу?.. Пожалуй, и правда, не заслужу-с! — поник головой Нахимов.

— Я совсем не в том смысле, Павел Степаныч, — захотел поправиться Истомин.

— А в каком же еще-с?.. Может, вы думаете, что мы из Севастополя живыми выйдем? Нет-с! Не выйдем-с!

Но не было времени ни для праздных гаданий о грядущем, ни для того, чтобы безмолвно пробыть лишнюю минуту около тела Корнилова: мысль о возможности вечернего штурма союзников скоро разметала всех далеко от склепа. Только каменщики остались в нем поспешно укладывать свод из кирпича над свежей могилой.

О том, что ждут штурма ночью, слышал в толпе и старый Зарубин; и когда Виктор разыскал его, отец тревожно говорил сыну:

— Штурма ждут ночью сегодня, штурма! Вот видишь ты, вышло как для нас худо: с одной стороны, и Владимира Алексеича похоронили, а с другой — штурм может быть. Что же теперь должно получиться, а?

— Пустяки! — беспечно отвечал сын. — А матросы?.. Да матросы теперь их не то чтоб штыками, зубами за Корнилова рвать будут!

Горячие слова сына все-таки не убедили отца. Утром вся семья Зарубиных вместе с другими офицерскими семьями перешла из своего дома в адмиралтейство.

#### IV

Прошло еще два дня.

На штурм все еще не отважились интервенты, но канонада 7 октября была уже значительно сильнее, чем 6-го: исправили все свои повреждения французы и поставили даже новые батареи. Замечено было, что появились новые дальнобойные орудия и на Зеленой горе у англичан.

Эта гора была названа так интервентами; но очень молодыми были и названия горы Рудольфа, облюбованной для своих батарей французами, и знаменитого в крымскую кампанию кургана, принадлежавшего в тридцатых годах шкиперу Малахову. Но места эти, как и все места кругом здесь, прихотливо, как в Греции, изрезанные бухтами берега незамерзающего моря, видели на своем веку великое множество больших и малых войн; по ним летали в древние времена и стрелы и камни, выпущенные из катапульта; а соседний с

Севастополем — «величественным городом» — Инкерман, — «город-крепость» по-турецки, — имел не менее как трехтысячелетнюю давность, все расширяясь и обновляясь и украшаясь орнаментами вдоль своих подземных стен из податливого резцу известняка. И каждый уступ на его отвесах, конечно, сотни раз орошался такою дешевой и такою грозной жидкостью, как алая человеческая кровь.

Первые греческие поэты и географы рассказывают с ужасом о неприступных скалах Инкермана, с которых скифы сбрасывали вниз захваченных ими мореплавателей-греков. Эти страшные укрепления тавро-скифов были взяты только Диофантом, знаменитым полководцем Митридата VI, царя понтийского.

Совсем перед Крымской войною златоустый Иннокентий, архиепископ херсонский и таврический вздумал основать в инкерманских пещерах монастырь, и там поселилось было человек двадцать монахов, устроившихся в этом древнем жилье не так плохо. Монастырек этот был назван «киновией во имя святых пап Климента и Мартина».

На северном склоне Малахова кургана, как и на примыкавшей к нему Корабельной слободке, были тоже пещеры, оставшиеся от бывших здесь некогда каменоломен. В этих пещерах селились беднейшие семьи матросов, не имевшие средств даже и для того, чтобы соорудить себе нехитрую хатенку под крышей.

Однако теперь, когда и северный склон Малахова кургана начал обстреливаться столь же беспощадно, как и южный и восточный, занятые редутами хаты подешевели, пещеры подорожали.

Неслыханной силы канонада загнала в землю и тех, кто нападал на город, и тех, кто в нем оборонялся. Землянки были выкопаны и для матросов-артиллеристов и для офицеров на батареях; контр-адмиралы, ведавшие участками или дистанциями оборонительной линии, имели свои пещеры. Инкерман значительно расширил свои древние границы.

Уже в первые дни канонады до сорока хаток-мазанок на Корабельной слободке было развалено и даже сожжено снарядами и ракетами. Но велика у людей привычка к родным пепелищам и велика сила нужды: матроски все-таки не ушли далеко от редутов, где у многих сражались мужья; они только переселились вглубь слободки, особенно густо

заселяя пещеры, имевшие только двери наружу, на улицу.

Изыскивая средства для пропитания своих ребят, они и раньше занимались тем, что пекли на продажу бублики, оладьи, калачи и прочую снедь, но продавали это на рынке. Теперь же рядом с ними появился тот же рынок — пехотные прикрытия бастионов.

К утру четвертого дня канонады матроски уже освоились с ней. Не то чтобы не обращали уж совсем на нее внимания или перестали ее бояться, но начали больше думать о продолжении жизни, чем о близкой и напрасной смерти.

Утром 8 октября соседка уже окликала бодро соседку через узенькую улицу:

— Дунька-а, а Дуньк!.. Чи ты там у себя живая?

— Жи-ва-я, родимец! — откликнулась Дунька.

— О-о! Живая?.. А крышу те не провалило?

— Не-е! Крыша моя стоит целая!

— Вот и слава те, осподи!.. А хотя бы ж и крышу, — а бы б не голову провалило!

И через минуту:

— Дунька-а!

— А-а!

— За водой со мной пойдешь?

— Пойду, а как же мне — без воды сидеть?

— Ну, тогда бери ведра-то, пойдём, што ль!.. А то мне одной чегой-то показывается вроде как страшно!

И идут вместе с ведрами на коромыслах вниз, к колодцу. И хотя ядра немилосердно рыщут по Корабельной, выискивая себе жертвы, но когда идешь вдвоем, все-таки не так на них обращаешь внимание и поговоришь, кстати, на ходу о том о сем, о своем бабьем.

Многочисленная же матросская детвора очень скоро привыкла к ядрам, и они занимали ребят гораздо меньше, чем бомбы.

Ядра просто шлепались в землю, как большие камни, или, если падали на твердое, подскакивали и катились, как мячи. Бомбы же были куда более загадочней, таинственней и замысловатей.

Они вертелись, двигались по земле, шипели, как гуси, и сыпали искры из своих трубок, наконец рвались с раскатистым треском и лупили во

все стороны черепками.

Так же точно рвались и бутылки, когда ребята насыпали в них негашеной извести, наливали воды и затыкали бутылку покрепче пробкой. Известь нагревалась, набухала, шипела, выстреливала пробку и рвала бутылку в мелкие брызги.

Это было тоже занятно, но бомбы занимали ребят гораздо больше.

В полдень 8 октября первая русская сестра милосердия — матросская сирота Даша — заметила от дверей своего перевязочного пункта на Корабельной, что на улице куча ребятишек лет по девяти-десяти, сцепившись руками, весело танцуют около чего-то на земле и поют.

Они пели звонко:

Бомба идет, бомба идет!

Ух, ты-ы! Ух, ты-ы!

Кого-то хватит, кого-то хватит!

Ух, ты-ы! Ух, ты-ы!

В середине их круга вертелась и шипела бомба, готовясь взорваться.

Даша не видела ее издали, но она догадалась об этом, вскрикнула, обомлела. Кинулась было к ребятам, крича исступленно:

— Чертенята! Что вы! Игрушка вам это?

Но уже поздно было; впору было самой падать на землю, спастись от осколков. Взорвалась бомба, и двое ребят валялись на земле в крови, а остальные убежали, оглядываясь назад и крича:

— Васькухватило!.. Митькухватило!

Они действительно играли, хотя и оказалось, что это была игра со смертью. Но не дано нам в детстве различать, где кончается наша мечта о жизни и где начинается свирепая правда этой жизни.

Когда добежала Даша, один из ребятишек уже не двигался; осколок вонзился ему в висок, и хотя был это небольшой осколок, но она видела, применяя свой недолгий опыт, что ребенок уже безнадежен.

У другого, Митьки, — она знала его, — были только сильно изранены ноги, и это он так окровавил землю около.

Она схватила Митьку на руки и потащила на перевязочный пункт, возмущенно ворча при этом:

— Удивляюсь я на матерей таких! Чего же они за своими детьми не смотрят?

Отлично знала она, что матерям здесь некогда все время смотреть за детьми, — они были в вечной заботе о том, чем бы их накормить, но нужно же было и ей кого-нибудь обвиновать за Митьку, который если и останется в живых, то будет калекой.

Матери и бежали, обе голорукие и с подоткнутыми подолами, и голосили над убитым Васькой, и порывались за уносимым Митькой: укрытые в своих пещерах от ядер, они стирали белье на офицеров с Малахова кургана. Это были Дунька и ее соседка, ходившие утром за водою вниз к колодцу.

В этот же день вторая русская сестра милосердия, жена батарейного командира Хлапонина, в госпитале сухопутных войск тревожно, как и во все эти страшные дни канонады, вглядывалась в каждого нового раненого офицера, которого приносили на носилках.

Утром этого дня получен уже был приказ перевезти весь госпиталь в безопасное место на Северную сторону, так как в него часто начали падать снаряды; поэтому здесь все готовились к переезду и дожидались только густых сумерек, когда прекращалась пальба.

С мужем виделась она в ночь с 6-го на 7-е; от него узнала потрясающие подробности о взрыве порохового погреба на третьем бастионе и о смерти ее недавнего гостя капитан-лейтенанта Лесли, быть может разорванного на мельчайшие части, почему и не удалось разыскать его тела, а может быть просто забитого слишком глубоко в землю.

На ночь она уходила к себе на квартиру, и потому, что ей негде было ночевать в лазарете, и потому, что ночью не было перестрелки, она могла несколько успокоиться за мужа и уснуть, чтобы иметь силы весь следующий день с раннего утра до темноты провести в лазарете.

Однако если на четвертый день к ней уже привыкли и врачи и смотритель госпиталя полковник, то она никак не могла заставить себя с необходимым равнодушием смотреть на изувеченные тела, потому что каждую минуту она ждала, что вот именно с такою страшною раной, или с такою, или вот с подобной принесут ее мужа.

О том, что муж ее может быть убит и исчезнет бесследно точно так же, как исчез Лесли, она не думала, — такая мысль просто не могла бы и появиться в ее голове; она не думала и о том, что он будет убит, как

очень многие другие, как все, кроме Лесли, — и эта мысль ее раздавила бы своей тяжестью, если бы овладела ею прочно.

Но испуг за мужа, который может быть ранен, ее не оставлял и первые три дня канонады и перешел на четвертый.

Она безотказно делала в госпитале все, что просили ее делать врачи, так как раненых было очень много, врачей мало и всегда не хватало людей для помощи им при операциях. Она старалась глядеть на страшные раны только вполглаза, у нее так болезненно сжималось сердце, что ей казалось временами это непереносимым, казалось, что сердце оборвется куда-то и она упадет и умрет.

Тяжелый запах крови и нечистых ран доводил ее до тошноты; тогда она кидалась к окну с разбитым стеклом или открытой форточкой и старалась надышаться свежего воздуха как можно больше.

Но из госпиталя она все-таки не уходила: она силилась приучить себя и к страшному виду ран и к их не менее страшному запаху, потому что такие именно раны и с таким же точно запахом могут появиться на теле ее мужа там, на этом ужасном третьем бастионе, и что же тогда? Тогда он может заметить по выражению лица ее, что ей непереносимо тяжело с ним возиться, и это его убьет.

Падавшие в госпиталь снаряды, — причем одним из них на третий день бомбардировки было убито двое раненых, а двое доведены до безнадежного состояния, — очень нервировали зрителя, который жил здесь с семейством, врачей и всех вообще служащих и тех из раненых, которые не были в беспмятстве.

Офицеры требовали крикливо, чтобы их сейчас же увезли отсюда, что должна быть какая-нибудь разница между госпиталем и бастионом; что они будут жаловаться на такие порядки по начальству и непосредственно в Петербург... Солдаты испуганно оглядывались на окна и потолки и ругали начальство госпиталя за то, что, как им казалось, оно не хлопчет об их переводе отсюда. Но Елизавета Михайловна Хлапоница меньше всего была обеспокоена именно этим, что госпиталь под обстрелом. Неясно, пожалуй, даже для нее самой ей чувствовалось, что так она соперничает с мужем хотя бы отчасти то,

что делается на третьем бастионе и около него, а более ясно в ней возникала боязнь, что до Северной стороны труднее будет доставить раненого с третьего бастиона, что придется перевозить его через Большой рейд на шаланде, что он много крови потеряет дорогой, что он испытает страшно много боли от толчков на такой длинной дороге... Наконец, пугало ее еще и то, что на Северной стороне было Братское кладбище, куда ежедневно на подводах возили десятками сразу убитых и умерших от ран.

В полдень 8 октября она вышла из госпиталя затем, чтобы немного подышать свежим, чистым воздухом, взглянуть на голубое небо, на золотые листья тополей и белых акаций, которые были посажены кругом госпиталя, а главное — чтобы посмотреть туда, в сторону этого ужасного третьего бастиона.

Как раз в это время солдаты подносили сплошь окровавленные, без перемены служившие уже который день носилки с ранеными.

Это было так обычно для нее в последнее время, что вот именно эти носилки и в этот именно час совсем не показались ей как-нибудь особенно тревожащими: просто вот принесли еще кого-то, еще одну несчастную жертву войны. Подойдя к носилкам, она открыла лицо раненого, ничего не спросив у солдат, открыла по создавшейся уже привычке и... отшатнулась.

То, чего она ожидала, — отнюдь не веря в это, впрочем, — все последние дни, оказалось вдруг до того неожиданным, что потрясло ее всю с головы до ног, как электрическим током: на носилках лежал ее муж, глаза у него были открыты, и рот открыт, но он глядел совершенно бессмысленно и не узнал ее, и из открытого рта его не вырвалось ни одного слова, ни даже стона...

— Митя! — крикнула она. — Митя!

Солдаты, не опуская носилок, но не двигаясь с ними и вперед, смотрели на нее с недоумением, но участливо, догадавшись уже, кем она приходилась раненому офицеру, но раненый не изменил ничего в своем взгляде и не закрыл рта.

Тогда она вскрикнула: «А-а-а!» — и упала в обморок рядом с носилками, ничком, лицом в опавшие с тополей листья...

Осмотрев Хлапонию, старший врач госпиталя решил, что он, раненный в плечо и сильно контуженный в голову, пожалуй, может оправиться, если только за ним будет тщательный уход и если будет лежать он подальше от грохота орудий.

На другой же день Елизавета Михайловна повезла своего мужа на извозчике в Симферополь.

V

Двенадцатая дивизия, посланная Горчаковым 2-м на помощь Меншикову, начала подходить эшелонами, начиная с 3 октября; а 9 октября уже все четыре полка ее, Азовский, Днепровский, Украинский и Одесский, были в сборе у деревни Чоргун, в тылу позиции интервентов. Дивизия была почти полного военного состава — пятнадцать тысяч штыков.

Однако как раз в это же время большие подкрепления получили и интервенты: в Париже и Лондоне хотели покончить с Севастополем как можно скорее и потому не скупилась ни на войска, ни на издержки по их перевозке.

Из Варны приплыла к французам бригада африканских конных егерей под командой генерала д'Алонвиля, бригада пехоты генерала Базена и дивизия Лавальяна. Так что число французских войск выросло до пятидесяти тысяч, английских же с прибывшим подкреплением — до тридцати пяти тысяч.

Русская армия численно значительно (тысяч на двадцать) уступала к 9 октября армии интервентов, хотя, кроме 12-й дивизии, к Севастополю подошли: Бутырский пехотный полк, четвертый полк 17-й дивизии генерала Кирьякова, запасные батальоны Минского и Волынского полков, Уральский казачий полк, батальон стрелков, батальон пластунов и другие мелкие части.

Наконец, Горчаков, кроме своего 4-го корпуса, отправил Меншикову и двести тысяч серебром, потому что боялся, что у него мало денег на содержание войск. А так как Меншиков больше нуждался в порохе, чем в деньгах, то несколько тысяч пудов пороха, предназначенного для Бендер, были отправлены, по приказу Горчакова, в Севастополь. 10-я и 11-я дивизии шли сюда же ускоренными маршами.

Однако Горчаков писал при этом Меншикову (конечно, по-французски):

«Войска, посылаемые вам, хороши, но вы не поддавайтесь на их хвастовство: они скажут, что готовы штурмовать небо. Дело в том, что они будут стойки при защите данной местности, но не ждите от них смелых атак. У неприятеля слишком большой над нами перевес в вооружении. Храбрейшие из начальников и офицеры бросятся, как угорелые, и будут выведены из строя, а все войско потом покажет тыл. Говорю вам это по опыту. Считал долгом предупредить вас об этом. Впрочем, говорю это для очищения совести, убежденный, что будете стараться затягивать дело, не рискуя ставить его на одну неверную карту...»

Такие советы давал умудренный Дунайской кампанией Горчаков 2-й, но совсем другие, не советы уж, конечно, а приказания, получал Меншиков от Николая.

Самодержец требовал наступательной войны и считал, что посылаемых светлейшему подкреплений для этого вполне достаточно. Он писал ему:

«...Остальные две дивизии 4-го корпуса следуют к тебе безостановочно, и, таким образом, любезный Меншиков, сделано все и, смею сказать, более, чем почти можно было, чтобы помочь тебе уничтожить замыслы вражьи. Остается молить бога, чтобы это, последнее уже, подкрепление дошло еще вовремя, чтобы спасти Севастополь».

Стремясь всячески руководить Крымской войной из гатчинского дворца, Николай не только не хотел считаться с технической отсталостью своей армии, не только ожидал от нее исключительных подвигов, но еще и предупреждал своего главнокомандующего в Крыму, что больше подкреплений он не получит. Единственно, что он обещал ему еще, это прислать к нему двух своих сыновей — Михаила и Николая. Если он думал обрадовать этим Меншикова, то, конечно, ошибся.

«Европейский рыцарь», как любил себя называть русский самодержец, имел огромную по тому времени армию под ружьем, но она была распылена по западной границе и Кавказу, причем для

защиты одного только Петербурга и прилегающих к Рижскому заливу берегов сосредоточено было сто семьдесят тысяч.

Но русская власть в Польше тоже, по его мнению, нуждалась в сильной защите, — так же как и граница с вероломной Австрией, военного выступления которой, притом очень большими силами, он не переставал бояться.

Наконец, интервенты могли ударить и на Одессу, и на Николаев, на Херсон, потому и здесь нужно было держать сильные гарнизоны...

Английский адмирал Непир, хвастливо обещавший в Лондоне «позавтракать в Кронштадте, а отобедать в Петербурге», правда, держался на приличной дистанции от Кронштадта, но все-таки крейсировал в Рижском заливе; кроме того, англичане делали попытки нападать и на Соловки и на Петропавловск-на-Камчатке, как бы желая показать вездесущность и всемогущество своего флота.

Это обилие уязвимых мест заставляло Николая быть прижимистым в расходовании войск на Крымскую кампанию: ему все казалось, что здесь только демонстрация, а настоящий сокрушительный удар ему готовится Парижем и Лондоном где-нибудь в другом месте.

В начале 1850 года, то есть всего за три года до начала Восточной войны, Корнилов был командирован Лазаревым в Петербург к Меншикову как к начальнику главного морского штаба, чтобы исходатайствовать нужные суммы для укрепления Севастополя как порта. Меншиков направил Корнилова непосредственно к царю, который и дал ему аудиенцию, очень примечательную тем, что на все просьбы Корнилова Николай отвечал однообразно:

— Понимаю, что надо бы это сделать, — сам люблю во всем порядок, да денег нет!.. Хотел бы дать, да не из чего: за что ни возьмешься, везде требуется монета!.. Денег нет, денег нет... Что делать с этим, когда их так много нужно?..

Так Корнилов и не добился ассигнований ни на устройство казарм, ни на ремонт госпиталя, ни на другие постройки и ремонты.

Как тогда не было у царя для Севастополя денег, так и теперь не было войск. А между тем никто так, как именно царь, не ожидал, что чуть только с прибытием всего 4-го корпуса армия Меншикова сравнится численно с армией интервентов, — Севастополь и флот будут спасены.

«Когда дойдут 10-я и 11-я дивизия, — писал он Меншикову, — надеюсь, что ты во всяком случае найдешь возможным нанести удар неприятелю, чтобы поддержать честь оружия нашего. Крайне желательно в глазах иностранных врагов наших и даже самой России доказать, что мы все еще те же русские 1812 года, — бородинские и парижские. Да поможет тебе бог великосердный!».

В этом же письме Николай особенно рекомендовал Меншикову начальника 12-й дивизии генерал-лейтенанта Липранди. Липранди действительно был одним из наиболее способных и образованных генералов николаевской армии.

В молодости участник семнадцати сражений во время Отечественной войны, он был потом в армии Дибича, когда Николай затеял войну с Турцией в 1828 году, затем отличился при штурме Варшавы, наконец, показал себя опытным и находчивым в Дунайскую кампанию, насколько можно было это сделать под командой такого путаника, как Горчаков 2-й, который тоже расхваливал Липранди в письме к Меншикову.

Но у Меншикова были свои причины отнести и к Липранди так же подозрительно, как относился он ко всем особо рекомендуемым ему лицам. Он считал Липранди виновником гибели лично ему известного полковника Андрея Карамзина, сына историка.

Гусарский полк под командой только что прибывшего из Петербурга в армию Карамзина, совершенно не знавшего местности и не имевшего никакого военного опыта, был послан Липранди в рекогносцировку, но наткнулся на большие турецкие силы, был почти окружен, едва вырвался, но потерял пятую часть гусар и самого Карамзина: раненный, он был взят в плен, и паша приказал отрубить ему голову, так же как и молодому князю Голицыну, тоже лично известному светлейшему.

Кроме того, Меншиков не одобрял нерешительные, как ему казалось, действия Липранди, осаждавшего турецкое укрепление Калафат, хотя в этом случае всякая решительность действий была строго воспрещена самим Горчаковым, и Липранди тут был ни при чем.

Самого Липранди Меншикову никогда не приходилось видеть, и вот в лагере на Бельбеке начальник 12-й дивизии представился ему вместе

с последним своим эшелоном.

Он оказался старым уже человеком, но еще очень бодрым и, главное, державшимся безукоризненно прямо и грудью, а не животом вперед. Росту он был большого и большеголов; в плечах плотен, в движениях нетороплив. Но неприятно внимательными и даже как будто слегка насмешливыми показались Меншикову светлые глаза Липранди на довольно свежем еще лице без морщин. Кроме того, неприятно было и то князю, что говорил этот генерал с Георгием на шее очень правильным, вполне литературным языком, без каких-либо вставок, запинок, эканья, пауз; как это было, по его мнению, свойственно природным русским.

Горчаков писал Меншикову о Липранди:

«Если у вас есть свободная минута, заставьте Липранди рассказать вам об всем, что касается сохранения солдата. Это — человек с прекрасными мыслями в этом отношении».

Но такой свободной минуты у Меншикова не нашлось, да и вопрос о сохранении солдата не занимал его: на очереди стоял вопрос о расходе солдат, так как готовилось наступление.

— Вы прибыли ко мне, Павел Петрович, как раз вовремя, — говорил он Липранди. — Бомбардировка Севастополя продолжается союзниками с очень большим усердием... цель этого усердия ясна, конечно: подготовить штурм... Мы отвечаем, конечно, но они гораздо лучше нас снабжены порохом, а у нас — у нас пороху мало. Может случиться так, что еще три-четыре дня, и мы уж будем отвечать одним выстрелом на два. Следственно, надо отвлечь их внимание от Севастополя.

Меншиков говорил это медленно, вопросительно, присматриваясь к Липранди и как бы не желая высказываться сразу до конца.

— Для того чтобы кого-нибудь отвлечь, надо его оттащить, а для того чтобы оттащить, надо схватить за шиворот, то есть сделать диверсию в тыл, ваша светлость, — слегка улыбнулся одними только глазами Липранди.

— В тыл, да! Диверсия в тыл союзников — это и есть моя мысль! — оживился Меншиков. — Вот эту задачу я и хотел бы возложить на вас.

— Очень благодарен вам за доверие, ваша светлость, — поклонил

голову Липранди, — но пока я не видал местности...

— Вы, разумеется, ее увидите сегодня же, — перебил Меншиков.

— Затем я хотел бы видеть и те части, какие вы мне вверяете, ваша светлость.

— Вы их видели и знаете гораздо лучше меня: это четыре полка вашей же дивизии и с вашей артиллерией.

— Только-то? — очень удивился Липранди. — Значит, это именно моя дивизия и в состоянии схватить за шиворот и оттащить всю армию союзников? Я, признаться, не знал за нею таких исключительно больших достоинств! У меня самая обыкновенная пехотная дивизия, ваша светлость.

Тон, каким было это сказано, совершенно не понравился Меншикову. Он прищурил глаза и насторожился.

Липранди же продолжал, как начал:

— Предпринимать дело наступления можно только с полным вероятием на успех, а иначе лучше его не начинать. Я держусь такого мнения, ваша светлость.

— Хорошо, вот сегодня же вы сделайте рекогносцировку от селения Чоргун и представьте мне ваши соображения, — сухо отозвался Меншиков. — Не смею задерживать вас больше.

Липранди откланялся и в тот же день, взяв с собою двух своих командиров бригад — Семякина и Левуцкого — и четырех командиров полков, в числе которых был генерал-майор Гриббе, отправился осматривать тыл позиций интервентов.

С этих позиций, расположенных на длинной Сапун-горе, могли отлично разглядеть и, конечно, разглядели большую конную группу, появлявшуюся то на одном, то на другом холме по линии Чоргунских высот, а еще лучше она была заметна с четырех английских редутов, перегородивших Балаклавскую долину от деревни Комары до Сапун-горы. Но за этой линией редутов шла вторая, впереди селения Кадык-Кой: позади же этого селения расположены были две сильных батареи. Однако и это было еще не все.

Балаклава прикрывалась непрерывными траншеями, соединявшими ряд батарей от горы Спилии до селения Кадык-Кой.

Комары были заняты неприятельскими аванпостами, а впереди Кадык-

Коя виден большой лагерь кавалерии рядом с лагерем пехоты. Кавалерия эта была дивизия лорда Лукана, состоящая из двух бригад: тяжелой драгунской под командой Скарлета и легкой смешанной под командой лорда Кардигана; а пехота — 93-й шотландский полк. Дальше, к Балаклаве, стояли флотские команды.

— Ну, что вы скажете, Константин Романыч, насчет того, как они закупорили свою Балаклаву? — обратился Липранди к Семякину.

Приземистый, сутулый, косоплечий, пожалуй, очень некрасивый и на лицо и по фигуре, генерал Семякин вздохнул кротко и сказал:

— Балаклаву заткнули на славу... Откупорить эту бутылочку будет трудненько.

— А можем ли мы взять ее одною нашей дивизией, как полагаете?

— Одною дивизией нашей? — Семякин поглядел вопросительно на Липранди, не шутит ли, поглядел еще раз на все укрепления англичан и ответил решительно: — С одною дивизией на Балаклаву идти можно только во сне.

— А первую линию редутов?

— Это совсем другой вопрос, — первая линия! Если отдадут они их нам, то возьмем.

— То есть как это «если отдадут»?

— То есть если не придвинут очень больших резервов... Если пойдем сразу и дружно, то взять их можно.

— Вот в этом именно смысле я и думаю ставить задачу... Идти на большее мы не имеем сил, значит, не имеем и права.

И тут же на месте Липранди распределил, кому и куда идти и что делать. Но другой план, гораздо более обширный, он таил про себя и с ним поехал вечером к светлейшему.

По этому плану предполагалось, взяв передовые редуты, идти не на Балаклаву, а прямо на Сапун-гору, куда вели из долины три дороги и куда Липранди думал подняться тремя колоннами, распылив таким образом силы противника.

Он рассчитал, что к 22 октября должны были прибыть 10-я и 11-я дивизии, и тогда в Чоргуне можно было бы собрать шестьдесят пять батальонов, семьдесят эскадронов и сотен и двести орудий. С этими силами он брался опрокинуть интервентов.

Он говорил горячо и убедительно, но Меншиков смотрел на него с недоумением и даже как будто с сожалением, что он, по общему мнению, человек умный, допустил такую нелепость, будто ему, всего только начальнику дивизии, дадут в командование целую армию! Он не сказал этого, конечно, но Липранди почувствовал, что именно это он и хотел дать ему понять, когда, покашляв скромно и усмехнувшись слегка, заговорил вполголоса:

— У нас истощаются запасы пороха, о чем я уже ставил вас в известность; у меня есть все основания предполагать, что союзники вот-вот сочтут подготовку к штурму законченной и пойдут на штурм... А вы строите мне какие-то воздушные замки на двадцать второе октября! Мы и одного дня не можем ждать, не только две недели! Поэтому-то я и предлагаю вам захватить только линию передовых окопов и их удержать за собою.

— Ваша светлость! С одной своей дивизией я и этого не смогу сделать, — обиженно ответил Липранди. — Редуты можно бы было, пожалуй, занять, но удержать их будет более чем трудно.

— Я вам дам еще бригаду кавалерии генерала Рыжова... Затем, пожалуй, еще два казачьих полка — Донской и Уральский.

— Кавалерия, конечно, может мне пригодиться на случай действия против английской кавалерии, но этого мало... Мне нужен заслон со стороны Сапун-горы, предпочтительнее всего на Федюхиных высотах. Для этой цели, я думаю, довольно было бы одной бригады при опытном командире.

Меншиков недовольно несколько раз слегка покашлял и, отвернувшись к окну, сделал свою затяжную гримасу в ответ на такое вымогательство; наконец, сказал:

— Хорошо, я назначу для этой цели Владимирский и Суздальский полки под командой Жабокритского... Еще что?

— Для выполнения только этой задачи, — а именно овладения четырьмя редутами, — мне больше ничего не нужно, ваша светлость, но я считаю своим долгом доложить, что шаг этот только обострит внимание союзного командования на свой тыл, и, пока подойдут десятая и одиннадцатая дивизии, оно так может укрепить его, что тогда уж ему не опасны будут все наши усилия.

Меншиков задумчиво побарабанил пальцами по столу и обещал обсудить его проект; но на другой же день, 10 октября, к Липранди приехал посланный им полковник Попов и передал, что ждать прихода всего 4-го корпуса для наступления совершенно нельзя, что бомбардировка слишком сильна, что нет пороха, что нужно сделать хотя бы что-нибудь, дабы отвлечь неприятеля.

Так было решено произвести давление в сторону Балаклавы.

## Глава вторая. Балаклавское дело

### I

Бивачные ночные костры догорали, и люди и кони, густо скопившиеся в узкой Чоргунской долине, начали чувствовать вкрадчиво жалящий холодок, набегавший порывами со стороны моря: наступало утро 13/25 октября, в которое приказано было Меншиковым дивизии генерала Липранди нажать на Балаклаву.

Еще не светало, только еще готовилось светать, — чуть брезжило. Орудия, упряжки, люди еще не воспринимались глазами, а смутно угадывались в темноте.

Окрики были негромки, манерки звякали о приклады тихо, и даже лошади, проникаясь таинственностью обстановки, фыркали вполголоса, ссорились между собою сдержанно, подымая беспокойно головы часто ставили уши торчком, вслушиваясь в отдаленное.

Эти лошади пришли с берегов Дуная, из армии Горчакова. Они были участницами не одного там сражения с турками, и у русских солдат успели уже сложиться приметы, в которые твердо верили, особенно кавалеристы. Если лошади ржут наперебой одна за другою и если они то ложатся, то срыву вскакивают, то снова ложатся, — быть дальнему походу; если какая лошадь перед боем стоит понурясь и не ест — значит чует, что быть ей убитой, а если ластится к своему хозяину и смотрит на него пристально и жалостливо — значит его убьют.

Такое явное предпочтение лошадиного ума своему извинительно было старым солдатам николаевских времен: дисциплина тогда на том только и покоилась, что всячески укрощала пытливость ума человека.

Солдаты и в это наступающее утро перед боем совершенно не знали, куда и зачем они пойдут; еще меньше знали они, как встретит их «он» — неприятель.

Но когда собираешься в бой, не нужно иметь много ума, чтобы догадаться, что могут тебя и убить, не только ранить. Поэтому у догорающих костров шла деловая передача от земляка к земляку последних просьб — сдать тому-то или переслать туда-то родным в случае смерти те небольшие деньги, которые за долгую службу скопились у каждого из этих старых усачей.

Иные пожилые семейные офицеры, сидя на корточках у тех же костров, при беглом свете их, наскоро, карандашами в записных книжках писали духовные завещания; другие, молодые, рвали письма, не желая, чтобы в случае смерти они попали в чьи-либо посторонние руки.

Когда полки 12-й дивизии стягивались накануне к Чоргуну, их встречал сам Липранди, чтобы каждому батальону прокричать несколько бравых слов и выслушать в ответ: «Рады стараться, ваше прево-сходи-тель-ство», а по оттенкам разноголосых криков этих решить про себя, ожидает ли его успех на другой день утром.

Он гадал по этим крикам, как гусары по своим лошадям. Опытным ухом он слышал, что солдаты кричат «от сердца» и стараться будут.

Теперь же эти, сердца которых он подслушивал, — народ уже обстрелянный, обдержанный в ежовых рукавицах войны, кто подремавший час-другой, завернувшись в шинель, кто не сомкнувший на ночь глаз, — были уже бодры и хлопотливы: ожидалась команда строиться.

И команда эта пришла; и, осмотрев в последний раз ружья и патронные сумки и подтянув ремни ранцев, стали поротно выстраиваться пехотинцы; похлопав и погладив коней и попробовав на ощупь подпруги, садились в седла гусары и уланы; за орудием орудие вытягивались в строй батареи...

Командующим отрядом, легким на руку генералом Липранди, было сказано, наконец: «Марш!». Приказ этот передали от старших младшим, и передрагсветное движение началось в том порядке, который указан был в диспозиции, розданной командирам отдельных

частей накануне.

От каменного Трактирного моста через Черную речку вправо разлеглись Федюхины высоты — два длинных холма, разделенных балкой, по которой проходила дорога из Балаклавы на Инкерман; высоты эти должна была занять бригада генерала Жабокритского — Владимирский и Суздальский полки.

К лежащей версты за три влево греческой деревне Комары, из которой еще в сентябре Раглан выгнал всех жителей, подозревая их в шпионстве в пользу русских, двинулась колонна генерала Гриббе, около полка пехоты с батареей и уланами. А прямо по Балаклавской долине, в сторону укрепленного англичанами селения Кадык-Кой, охраняемого, кроме того, еще и цепью сильных редутов на холмах, повел главные силы генерал Семякин.

Он ехал на смирном казачьем маштачке соловой масти, неуклюжий, в плохо пригнанной, встопорщенной горбом сзади солдатской шинели, в низко надвинутой на уши фуражке, и совершенно ничего — ни воинственного, ни начальственного — не было в его отяжелелой от лет, подавшейся на седле вперед фигуре.

Щеголеватый, подбористый полковник Криднер, командир Азовского полка, которого назначил Семякин для атаки первого и самого сильного из английских редутов, держался рядом с ним и поневоле был молчалив, потому что сосредоточенно молчал Семякин.

Светлело быстро. Утренний ветер утих. Туман сползал к морю. День обещал развернуться ясный, может быть даже жаркий, как было накануне.

Темно-синие, оторвались от неба и четко обозначились вершушки Сапун-горы, которая занята была охранительным корпусом Боске. Зоркие молодые глаза пытались даже и без зрительных труб разглядеть на ней кое-где кавалерийские пикеты французов.

Правее пяти батальонов Семякина двигалась уступами 2-я бригада дивизии Липранди. Ее вели генерал Левуцкий и полковник Скюдери, командир Одесского полка. Она должна была занять остальные три редута после того, как будет захвачен первый, самый сильный, на холме, названном союзниками холмом Канробера.

За Одесским полком шагом, как на ученье, вытянулась бригада гусар

— лейхтенбергцев и веймарцев, которую вел старый генерал Рыжов. Веймарцы на гнедых конях и лейхтенбергцы на вороных и сами в черных ментиках, шитых золотом, — краса отряда, — очень смутно представляли, придется ли им, и если придется, то как именно, участвовать в бою. Но сам Рыжов, начальник всей кавалерии в Крыму, получил приказ Липранди выжидать окончания действий пехоты, и чуть только последний редут англичан будет занят, броситься в карьер на английскую кавалерию и смять ее.

Накануне, вместе с Липранди, Семякиным, Левуцким и другими, Рыжов выезжал на рекогносцировку и видел четыре редута на холмах и укрепленный лагерь английской кавалерии за этими редутами, вблизи селения Кадык-Кой; но он сомневался, чтобы редуты, такие сильные на вид, могли быть взяты. Уже свыше сорока лет прошло с тех пор, как был он произведен в первый офицерский чин. Он участвовал еще в трехдневном бою под Лейпцигом, был в войсках, вступивших в Париж; вслед за тем на его глазах проведены были еще девять кампаний, но ему никогда не приходилось получать приказания, подобного тому, какое он получил накануне от Липранди. За день перед тем, отправляя его к Чоргуну из лагеря на Каче, с ним очень любезно говорил сам светлейший. Он просто сказал: «Вы присоединитесь к двенадцатой дивизии...» Но присоединиться к пехотной дивизии и даже поступить под команду Липранди (хотя они в равных чинах) еще не значило получить такую диспозицию, какую придумал этот любимец генерала Горчакова.

Он утешал себя мыслью, что ему, может быть, придется только ударить в тыл бегущему противнику, хотя сильно сомневался и в этом. Под его командой было еще три конных полка: два казачьих — уральский и донской — и сводный уланский, который сопровождал колонну Гриббе. И он вообще не понимал, зачем Липранди потребовал так много кавалерии для наступления на сильно укрепленные позиции в местности, очень пересеченной, крайне неудобной для действия конными частями.

— Ну, куда тут пуцу я два полка в атаку? — ворчливо говорил он командиру лейхтенбергцев генерал-майору Халецкому, ехавшему с ним рядом. — Там, у англичан, все изрыто какими-то безобразными

окопами, вы видите?

— Окопы?.. Я вижу кусты, а насчет окопов... В какой стороне вы разглядели окопы? — поворачивал голову то вправо, то влево Халецкий, длинный, с хрящеватым носом и жилистой шеей.

— Кусты, совершенно верно, кусты! — тут же согласился Рыжов. — Теперь и я вижу, что кусты, а совсем не окопы... Однако не один ли это черт, благодарю покорно?

И он пучил круглые светлые глаза, ерзая жесткими на вид седыми бровями недоуменно и сердито.

Между тем со стороны Комаров и монастырька Ионы Постного донесся гулкий штуцерный выстрел, — первый и потому показавшийся всем неумеренно значительным. За этим выстрелом забарабанило вразброд несколько еще: это, отстреливаясь, отходили от Комаров аванпосты союзников.

— Ну вот!.. Началось! — строго поглядел на Халецкого Рыжов.

Потом он медленно снял фуражку и торжественно перекрестился три раза.

Халецкий поспешно сделал то же, но тут же достал часы и проговорил ненужно подчеркнуто:

— Ровно шесть! Согласно диспозиции!.. Примерный командир этот Гриббе!

— У Липранди они, кажется, все примерные, — ворчнул Рыжов. — А что Одесский полк? Остановился или продвигается?.. Остановился ведь, — что же вы? Не видите разве, что остановился? Значит, и нам стоять.

— Полк, сто-о-ой! — повернул коня боком к передним рядам Халецкий, и конский топот утих постепенно от передних к задним.

Солнце выкатилось из-за моря багровое. По Сапун-горе забежали красноватые отблески, очень беспокойные на взгляд. Зарозовели и Федюхины высоты, где устанавливались орудия впереди жиденских батальонов владимирцев, которых еще не успели пополнить после жаркого дела на Алме.

Однако и орудия батарей 12-й дивизии и зарядные ящики к ним без заметной торопливости выдвигали на линии дюжие крупные кони, и скоро прогремел первый выстрел из полевой пушки.

Халецкий снова вынул часы и сказал:

— Десять минут седьмого.

— Странное дело, благодарю покорно! — суетливо задвигался на седле Рыжов. — Чего же молчат их редуты?

Но тут за клубился розовый дым над холмом Канробера, и загрохотал очень мощный выстрел в ответ,

— Ого! Это — крепостное! — проговорил Халецкий, ища вверху глазами снаряд.

Рыжов тоже задрал голову кверху, адъютант же его, поручик Корсаков, показал в промежуток между первым и вторым редутами, обращаясь к своему генералу:

— Ваше превосходительство! Вон на рысях идет их батарея из резерва!

Залп из орудий невдали стоявшего Одесского полка заглушил его слова.

Вверху становилось все светлее и голубее от подымавшегося солнца, внизу — все неразборчивей и туманней от расплывавшегося всюду дыма. Орудийные выстрелы гремели чаще; дело на подступах к Балаклаве, над обдумыванием которого трудились накануне Липранди и Семякин, началось именно так, как об этом говорилось в составленной ими диспозиции.

Даже то, что на Сапун-горе выстраивались колонны французов из корпуса Боске, предусматривалось заранее: отряд Жабокритского и занимал Федюхины высоты только затем, чтобы противодействовать обходу справа, на который мог отважиться Боске.

Полковник Войнилович, командир дивизиона лейхтенбергцев, не старый еще, черноусый, плечистый, крепкий на вид человек, спросил у Рыжова, где же именно лагерь конницы союзников.

Балаклавская долина в этом месте была неширока. До Комаров от позиции гусарской бригады можно было дать глазомерно версты две; столько же до Сапун-горы. Правее гусар шла дорога от Мекензиевых гор на Балаклаву, а впереди редуты, поперек долины, тянулось Воронцовское шоссе. Из-за дыма, окутавшего редуты, трудно было рассмотреть не только лагерь союзной кавалерии, но даже и селение Кадык-Кой, и Рыжов только указал наудачу в сторону между третьим и

четвертым редутом, махнув при этом рукою и усмехнувшись, как принято усмехаться заведомо пустой затее, которая, конечно же, будет отменена.

Несколько поодаль от гусар расположился Уральский казачий полк. Хотя полк этот не находился в непосредственном подчинении Рыжова, но Рыжову было неприятно, что командир его решил держаться чересчур самостоятельно, не подъезжает к нему и не просит у него никаких объяснений, даже спешил, как и несколько офицеров около него.

Это вывело из себя Рыжова.

— Поручик Корсаков! — крикнул он адъютанту. — Как-нибудь поделикатнее напомните вы этому болвану, что он не в резерве, а в боевой линии, да! Что каждую минуту, — благодарю покорно, — могут ему приказать бросить полк туда или сюда в атаку!

Корсаков бросился к уральцам.

— Ну, что он сказал, этот болван? — спросил Рыжов Корсакова, когда он вернулся от командира уральцев.

— Удивился, ваше превосходительство, — улыбаясь, ответил адъютант. — Однако на коня сел.

Уже все три десятка орудий отрядов Семякина, Левуцкого и Скюдери заговорили громко и согласно. Войнилович разглядел сквозь дым, что английская батарея из шести орудий, занявшая было промежуток между первым и вторым редутами, повернула в тыл, и Халецкий, победно щелкнув крышкой своих золотых часов, отметил:

— Половина седьмого!

Из редутов выстрелы были подавляюще гулки, но редки, и чем дальше, тем реже. Оживленно шла перестрелка штуцерных с той и с другой стороны, таившихся за кустами. Однако ближе к семи часам, когда стало уже совсем по-дневному светло в небе, редуты первый и второй умолкли.

— Ого! Кажется, наша берет! — оживленно сказал Войнилович, подкачнув крупной головой.

Видно стало, как донская легкая батарея против третьего редута снялась с передков и передвинулась вперед: это значило, что там ослабел даже и штуцерный огонь противника.

— Покорно благодарю, а?! Кажется, мы скоро начнем штурмовать их, а?.. — не столько радостно, сколько встревоженно обратился к Халецкому Рыжов и энергично оттянул раз, и два, и три тугие седые усы.

Действительно, скоро заметно стало движение в отряде Семякина, и показался на своей лошадке сам Семякин почему-то с обнаженной, несколько как будто башкирского склада головой. Фуражку свою он держал в обеих руках перед собою.

Может быть, он что-нибудь говорил солдатам, — слов его не было слышно. Видно было только, что он низко поклонился вперед, потом вправо, потом влево, поднял фуражку и показал ею по направлению на холм Канробера, потом нахлобучил ее также обеими руками на самые уши и повернул маштачка. Азовский полк ротными колоннами двинулся в атаку под музыку и барабанный бой, заглушавшие перестрелку штуцерных.

Роты шли без выстрела.

Солдаты не сбивались с ноги и отбивали шаг торжественно, хотя редут весь был заволочен дымом от сильного ружейного огня его защитников. Ряды обходили убитых и тяжело раненных, свалившихся на землю, и смыкались вновь, а легко раненные шли вместе с другими, не отставая, поскольку хватало сил.

Эта атака пехотинцев была похожа на атаку конницы, — таким широким шагом двигались роты, и так быстро сокращалось расстояние между ними и подножием холма.

Гусары стали на стремена, чтобы лучше видеть.

Вот уже к самому холму подошли первые две роты. Напряженно ждали гусары «ура», и «ура» донеслось до них. Азовцы ринулись вперед и облепили

холм.

Это было подмывающее зрелище: со штыками наперевес иные бежали наискось по холму, сталкиваясь и подпирая один другого, другие, более запальчивые и молодые, уверенные в себе, карабкались прямо по крутогорью к амбразурам орудий и вот уже лезли через амбразуру внутрь редута.

Редуты защищали турки. «Ура» мешалось с криками «алла». Опытные

глаза гусар, отбывавших Дунайскую кампанию, видели, что штыковой бой там, внутри окопа, начался.

— Возьмут!.. Сейчас возьмут! — вскрикнул поручик Корсаков.

— Раз орудия там молчат, значит редут уже наш! — радостно отозвался ему Войнилович.

— И значит, нам надо готовиться к атаке! — подхватил Халецкий, вопросительно поглядев на Рыжова.

Рыжов же, вооруженный зрительной трубой, взятой им у ординарца, следил за тем, что делалось на холме Канробера, напряженно и молча.

И вдруг закричал он:

— Бегут! Турки бегут, благодарю покорно!.. Англичане тоже отступают!

И снова припал глазами к трубе.

Правее дороги, на которой стояли гусары, проскакала вперед кавалькада всадников: сам командующий боем генерал Липранди и несколько человек его адъютантов; а через две-три минуты — барабаны, полковая музыка; и на второй и третий редуты двинулись батальоны Левуцкого, а на самый отдаленный, четвертый, — Одесский полк.

Однако турки, сидевшие в этих трех редутах, даже не защищались и не захотели принимать штыкового удара русских, как в первом: они бежали вслед за своим командиром Сулейманом-пашою.

Часть их, добежавшая до стоящего в резерве пехотного полка шотландцев, была остановлена этим полком, но другая часть рассыпалась по палаткам лагеря шотландцев, хватала там на скорую руку все, что считала поценнее, и мчалась дальше.

Расстроенное воображение турок рисовало им картину, близкую к картине потопа: русские войска казались им теперь неисчислимыми и несокрушимыми, почему им и хотелось как можно скорее добраться до спасительных кораблей Балаклавской бухты, но отнюдь не с пустыми руками.

А между тем канонада под Кадык-Коем встревожила уже Балаклаву, и из обширного лагеря около нее шли на помощь шотландцам гвардейская дивизия герцога Кембриджского и дивизия генерала Каткарта, а на Сапун-горе Боске выстраивал в линию позади

укреплений весь свой корпус, и сюда, как в место более высокое и прочное на случай атаки русских, скакали оба главнокомандующих союзных армий — Канробер и Раглан.

Четвертый редут, замыкавший долину, был очень близок к Сапун-горе, поэтому, чуть только был он занят одессцами, на нем стали рваться французские бомбы.

Липранди заметил это, и от него был послан прикомандированный к нему Меншиковым капитан-лейтенант Виллебрандт с приказом срыть вал редута, изрубить лафеты взятых там трех орудий, а тела орудий сбросить с горы.

Разгоряченный успехом дела, статный и красивый полковник Скюдери, выслушав Виллебрандта, с полным недоумением поглядел на него и кругом на своих одессцев.

— И потом что же должен я делать?! — резко крикнул он. — Отступить?

— По всей вероятности, отступить, — что же вы можете делать еще? — в свою очередь спросил его Виллебрандт, преувеличенно хлопая густыми белыми ресницами, как крыльями.

— Отступить? — повторил Скюдери крикливо, исказив красивое лицо.

— Непременно! — уверенно и даже несколько свысока, как адъютант не Липранди, а самого светлейшего, ответил Виллебрандт.

Скюдери оглянулся на задымленную Сапун-гору, с которой летели ядра и бомбы, и, выхватив шашку, зло и звонко ударил по лафету стоявшего около него английского орудия, которое нельзя было вывезти отсюда как трофеем.

## II

Генерал Рыжов старыми, но еще зоркими глазами пристально вглядывался через трубу в эту движущуюся панораму боя, где густо заволоченную дымом, где очень четкую, яркую, но тем не менее весьма загадочную.

Он заметил и кавалькаду — Липранди с его штабом — на холме Канробера и встречавшего своего начальника дивизии мешковатого Семякина, которого узнал по казачьему маштачку соловой масти; он разглядел и хозяйственную суету и оживление на редутах втором и

третьем, которые днепровцы и украинцы уже деятельно принялись приспособлять к защите на случай штурма союзников; но то, что увидел он на четвертом редуте, поставило его в тупик: два задних батальона Одесского полка от него отходили.

Правда, на самом редуте все время рвались снаряды, но батальоны шли не вперед, а назад, — это было не совсем понятно.

— Посмотрите, мы отступаем, или что это? — передал он встревоженно трубу Халецкому.

— Может быть, маневрируем, — отозвался Халецкий.

— Маневрируем?.. Как именно и зачем?

Маневрировать совсем не значило отступить и не снимало вопроса об атаке английской кавалерии, поэтому Рыжов снова взял трубу у Халецкого.

Кавалерия англичан стояла так же неподвижно, как и раньше; левее ее виднелся тот самый, по номеру 93-й, шотландский пехотный полк, который собрал около себя батальоны бежавших из редут турок, а еще дальше — полевая батарея.

Рыжов понимал, что Липранди еще лучше, чем он отсюда, видел оттуда, с первого редута, и пехотный английский полк и орудия, которые могут осыпать гусар пулями и картечью, если они в самом деле отважатся атаковать бивак кавалерии. И чем больше вглядывался в то, что его ожидало в случае атаки, тем становился спокойнее: рождалась непоколебимая уверенность, что нелепая атака эта будет отменена.

Когда же он совершенно успокоился на этот счет, то тронул лошадь и двинулся шагом вдоль фронта лейхтенбергцев.

Всего за минуту перед этим, гусары, тревожившие его тем, как-то будут они вести себя в бою, теперь становились для него с каждым шагом его лошади, прекрасной вороной кобылы Юоны, обыкновенными гусарами каждого дня. Нахмурясь, он вглядывался привычно инспекторски в посадку каждого и в стойку коней, но вдруг поднял плечи и брови.

— Это что за чучело такое? А-а?

Он заметил, что бок и даже шея одного коня были щедро выпачканы

глиной.

— Ты-ы! — крикнул он гусару. — Как фамилия?

— Сорока, ваше превосходительство! — ответил молодой еще гусар.

— Со-ро-ка?.. Скверная ты птица, почему не чистил лошади?

— Выкатался, ваше превосходительство, аж перед тем как сидали на коней, а ночью чистив, — отнюдь не робко объяснил Сорока.

— Кто твой взводный?

— Старший унтер-офицер Захаров, ваше превосходительство! — заученно, поэтому очень отчетливо отчеканил Сорока.

— Унтер-офицер Захаров! — позвал Рыжов.

— Я, ваше превосходительство! — отозвался пожилой, с седеющими у висков баками унтер, сидевший в седле, как влитой.

— Лы-ычки сдери, слышишь? — погрозил ему пальцем Рыжов.

— Слушаю, ваше превосходительство, — не моргнув, ответил молодцеватый Захаров.

Как раз в это время Халецкий, который уже принял было невольно позу за дело, правда, но совсем не вовремя получающего замечание, увидел скакавшего к ним в карьер всадника.

— Кажется, какой-то адъютант командующего, — сказал он Рыжову, показав на всадника подбородком, и Рыжов, мгновенно обернувшись, замер.

Всадник, пехотный штабс-капитан, был действительно послан Липранди. Подскакав, он переводил глаза с одного кавалерийского генерала на другого, не зная, который из них Рыжов, но, заметив три звездочки на погоне более старого, отрапортовал без запинки:

— Командующий отрядом, генерал Липранди, приказывает вам, ваше превосходительство, сейчас же вести бригаду гусар в атаку согласно диспозиции!

— Как, сейчас же в атаку? — опешил Рыжов.

— Приказано — с места в карьер, ваше превосходительство, — дополнил штабс-капитан.

— Нельзя с места в карьер на дистанцию в полторы версты! — строго, как истину, которую не мешает знать даже и штабс-капитанам, не только пехотным генералам, сказал Рыжов, поглядел на Халецкого и добавил решительно: — Где генерал Липранди?

Штабс-капитан указал рукою. Липранди спустился уже с холма Канробера, и вся кавалькада его стояла метрах в четырехстах от передних рядов гусар.

Рыжов подобрался и, точно желая показать пехотинцу-адъютанту, на какую дистанцию можно пускать кавалерию с места в карьер, дал Юноне шпоры. Нагнув голову, кобыла помчалась вскачь, сразу оставив далеко за собою лошадь адъютанта.

Оставляя свою бригаду, Рыжов успел только крикнуть Халецкому: «Рысью, вперед!» — и показать направление: полки должны были проезжать мимо Липранди, и Рыжов вполне надеялся на свою Юнону, что она их догонит.

Липранди удивился, увидев перед собой старого генерала с красным и потным лицом и сердитыми глазами.

— Прошу дать мне колонновожатого! — закричал Рыжов. — Я не знаю местности!

— Как так не знаете? — удивился Липранди. — Видите, вон — артиллерийский парк англичан? — указал он рукою на тот самый кавалерийский бивак, который изучал в трубу Рыжов,

— Парк? — удивился и Рыжов. — Значит, там парк?.. Прошу дать мне в провожатые вот капитан-лейтенанта! — кивнул он на Виллебрандта. — Как севастополец он знает, конечно, здешнюю местность.

— Простите, ваше превосходительство, я не могу с вами... — весьма решительно отказался Виллебрандт.

— Я приказал Уральскому полку идти вместе с вами... — сказал между тем Липранди. — И донской легкой батарее вас поддержать.

Рыжов невольно оглянулся, услышав в это время пронзительное гиканье и лихой топот: карьером мчался, справа по шести, Уральский полк.

— Я могу ехать с вами! — вдруг сказал какой-то капитан генерального штаба, бывший в свите Липранди.

— Благодарю покорно! — наклонился в его сторону Рыжов, взял под козырек, прощаясь с Липранди, и помчался догонять свою бригаду, стараясь в то же время не обгонять капитана и своего адъютанта, поручика Корсакова.

### III

Полки перешли уже на большую рысь, когда поровнялся с лейхтенбергцами Рыжов, но не больше как через полминуты Юнона, одна из резвейших лошадей во всей 6-й кавалерийской дивизии, догнала лошадь Халецкого, который вел бригаду в атаку.

Капитан свиты Липранди, — его фамилия была Феоктистов, — припав на скаку к луке, указывал блестящей шашкой направление, наиболее удобное и короткое, но ряды мчались расстроенные.

Кусты виноградника, хотя низкие и довольно редкие, хлестали лошадей по ногам. Кое-где между кустами валялись убитые и тяжело раненные стрелки...

Свистел воздух около, но свистели и пели кругом пули шотландцев, рвалась картечь... Наконец, скакать пришлось в гору, так как на высоком сравнительно месте расположилась английская кавалерия.

Поразило Рыжова, что она стояла неподвижно.

Сам он скакал, как Мюрат, не вынимая сабли. Он уже различал впереди огромных всадников на огромных гнедых конях с черными гривами. То, что показалось Липранди артиллерийским парком, были простые обеденные столы между коновязей, отделявших эскадрон от эскадрона.

Уральцы опередили гусар.

В лохматых рыжих шапках, с пронзительным гиканьем, они уже гарцевали перед молчаливым плотным строем английских красных драгун, не решаясь все-таки врубиться в их стену.

Когда эскадроны пущены в атаку в карьер, их уже нельзя останавливать, чтобы не ослаблять силы их стремительного удара. Рыжов еще заранее приказал своим эскадронным командирам выноситься на скаку уступами влево; это требовал развернутый строй английских драгун.

И вот, блестя поднятыми саблями, разгоряченные всадники неслись на разгорячившихся конях всесокрушающей на вид лавиной, а их встречала бригада тяжелых драгун Скарлета загадочной тишиной и опущенными клинками.

Первым доскакавшим эскадроном был эскадрон Войниловича. Он врубился в ряды англичан, и началась сеча.

Рыжов, отставший от Халецкого, чтобы руководить боем обоих полков, видел, как этот всегда хладнокровный и точный человек взмахнул над головой окровавленной уже саблей и как потом, через момент, брызнула на его широкий погон кровь из его левого уха, отрубленного английским клинком.

Но нельзя было смотреть на одного в общей свалке. Кругом звякали, скрещиваясь, сабли, кругом вскрикивали и хрипели люди, взвизгивали и грызли кони...

Первый эскадрон веймарцев угодил с разгону как раз против коновязей и обеденных столов. Лошади, безудержно раскакавшись, прыгали через коновязи и опрокидывали столы...

Метнулся в глаза лейхтенбергец из молодых солдат, с очень знакомым, хотя и искаженным напряжением схватки лицом. В два сильных удара свалил он с коня огромного красного драгуна, напавшего на Войниловича.

— Молодец, Сорока! — бормотнул Рыжов, припомнив фамилию гусара.  
— Крест тебе, крест!..

И теперь, в разгаре сечи, не понимал он, как и прежде, зачем послал его бригаду в атаку Липранди. Англичане, видимо, тоже не поняли этого, почему и стояли на месте. Но бой был бой, раз он начался, и некогда уже было думать ни о чем другом, кроме боя.

Халецкий, зажав пальцами левой руки ухо, а ладонью — раненую шею, повернул коня в тыл, ища глазами кого-нибудь из эскадронных цирюльников, которые были также и фельдшерами, чтобы сделать себе перевязку, остановить кровь; Войнилович же еще рубился...

Красномундирные огромные всадники на очень рослых и мощных красно-огненных с черными челками и гривами конях держались стойко. Между тем уральцы почему-то носились взад и вперед далеко вправо, в стороне от боя, вместо того чтобы обскатать англичан и врезаться в них с их левого фланга.

Рыжов только что хотел послать к ним Корсакова с приказом атаковать драгун, но, оглянувшись, увидел, что адъютант его бессильно припал к шее коня, раненный пулей в бок, — в крови был левый бок.

Рыжов повернул Юнону, чтобы помочь как-нибудь поручику, но вдруг Юнона сделала совершенно ненужный прыжок, до того неожиданный,

что он едва усидел в седле, и стала валиться на землю, дав ему время только выхватить ногу из стремя.

Шотландская пуля попала ей в голову несколько выше глаза. Раза три жестоко ударилась она головою о землю и вытянула шею.

Юнона была у Рыжова пять уже лет, но некогда было тосковать о ней, шел бой, нужна была другая лошадь: нельзя было оставаться пешим командиру кавалерийской бригады во время боя.

Поручик Корсаков не падал со своего коня, — его можно было еще увезти в случае отхода к своим.

Но вот около самой головы Рыжова тесно прилась голова вороной лошади. С нее прыгнул унтер-офицер Захаров, которого четверть часа назад обещал он разжаловать в рядовые, и очень быстро, но четко сказал:

— Пожалуйста, ваше превосходительство, извольте садиться!

— Ага! Да!.. А ты как же? — спросил Рыжов, заноса ногу в стремя.

— Найду себе, ваше превосходительство!.. Вот только седло сыму, — нагнулся он над Юноной.

— Брось! Что ты выдумал! — крикнул Рыжов, но тут же повернул свою новую лошадь и поскакал в сторону веймарцев, перед которыми начали уже пятиться красные драгуны.

— Урра-а! — кричал Рыжов, входя в азарт победы.

— Урра-а-а! — кричали веймарцы, а за ними и лейхтенбергцы, перед которыми тоже уже кое-где начали показывать черные хвосты своих коней англичане.

Захаров же не спеша, но привычно легко и ловко расстегивал ремни седла, бормоча при этом:

— Как же можно дать пропасть седлу генеральскому? Чудное дело!

Донская батарея, устроившись в тылу гусар, состязалась с английской полевой, но английские снаряды падали и туда, где скоплялись раненые гусары; пули же шотландцев становились метче и злее.

Гусары гнали уже красных драгун, но подходили на выручку им шотландские стрелки, подъезжали ближе орудия...

— Труби отбой! — кричал трубачам Рыжов — Аппель!

Трубачи, как петухи утром, подхватили звуки «аппеля», но гусары в пылу сечи забыли, что такое там выговаривают звонкие трубы.

Полковник Войнилович за шиворот оттаскивал назад своего спасителя Сороку, а когда собрал первый эскадрон, то увидел в нем унтера Захарова верхом на огромном гнедом английском коне и с генеральским седлом, накинутым на переднюю луку английского седла.

Отступать после атаки, хотя бы и очень удачно проведенной, искусство гораздо более сложное, чем самая атака.

Халецкий, голову и шею которого наскоро бинтовал не цирюльник, а его же ординарец унтер Зарудин, слышав трубы, по привычке вынул часы и проговорил:

— Ровно семь минут рубки.

Однако за эти семь минут рубки третья часть офицеров в полках оказалась выбывшей из строя и сильно поредели ряды гусар.

Поддерживать в седле Корсакова Рыжов назначил было двух рядовых, но подъехал выпущенный им из виду капитан Феоктистов и сказал:

— Я могу помочь поручику; я не ранен пока...

— Где же вы были? — спросил удивленный Рыжов.

— Нечаянно попал в свалку, но уцелел, — спокойно ответил Феоктистов.

Перерубленный погон его мундира болтался, мундир спереди был забрызган кровью, хотя, видимо, не своей.

Когда спускались вниз, в долину, под певучими пулями шотландцев и турок эскадроны, — холодело между лопаток у Рыжова: вот-вот пустятся в карьер им вдогонку красные драгуны и начнут рубить, как капусту.

Но драгуны не двинулись с места. Слишком ошеломлен был генерал Скарлет лихим нападением русских гусар и достаточно потерь было в его эскадронах, чтобы так круто переменить роли.

Уральцы передовыми были и при отступлении; прогарцевав в стороне до отбоя, они при первых же звуках труб двинулись назад большой рысью, не потеряв ни одного казака, ни одной лошади.

И чем ближе были свои и полная безопасность, тем злее становился Рыжов на Липранди и за этих бесполезных для дела уральцев и за вопиюще нелепую затею атаки, благодаря которой совершенно зря потерял он столько солдат, и офицеров, и адъютанта, к которому

привык, и Юнону, которую не продал бы и за большие деньги.

— Прошу подтвердить перед генералом Липранди, — сказал он, улучив минуту, Феоктистову, — что не артиллерийский парк мы атаковали, но, за неимением оного, только коновязи и столы!

#### IV

Однако Липранди знал, зачем посылал гусар Рыжова в атаку. Предприятие это было дерзкое, — что и говорить, но оно и должно было показаться неприятелю дерзким: оно должно было ошеломить его именно этим бьющим в глаза избытком силы и удали, которые бросаются как будто совсем ненужно щедро; оно должно было заставить задуматься.

Он предвидел, что против его дивизии будут стянуты немалые силы, и хотел выгадать время, чтобы перестроить свои для отражения атаки.

В разные стороны разослал он адъютантов, чтобы стянуть полки и батареи ближе к правому флангу, которому могла угрожать спешно спустившаяся в долину с Сапун-горы бригада генерала Винуа.

В зрительные трубы видно было, что солдаты этой бригады шли совсем налегке, без ранцев, — так спешил Винуа поскорее помочь англичанам.

Французская кавалерия — африканские конные егеря под командой д'Аленвиля — тоже мчалась уже выручать Скарлета.

Французам было гораздо ближе, однако и английские дивизии подходили, спешно вызванные из лагеря под Балаклавой Рагланом.

Первыми пришли гвардейцы молодого герцога Кембриджского, за ними — дивизия старого и опытного генерала Каткарта, получившего известность своими удачными действиями в колониальных войсках.

Видя, что линия редутов уже потеряна, эти дивизии устанавливались у подошвы Сапун-горы, под прикрытием батарей Боске.

Войска стягивались отовсюду к левому флангу союзников и правому русскому флангу. Поэты сравнили бы их с тучами, которые ползут, клубятся, тучнеют, набухают, становятся лилово-черными, чтобы разразиться, наконец, молниями, громами и ливнем.

Бригада Рыжова стояла теперь на своей прежней позиции, но позади линии батарей, перегородивших по приказу Липранди всю долину от

Комаров до Федюхиных высот в ожидании атаки союзников.

Бригада потеряла при отступлении еще несколько десятков человек от пуль и картечи, но не менее потеряли и драгуны Скарлета, запоздало кинувшиеся было в погоню за русскими гусарами; их встретили дружным огнем стрелки, рассыпанные в кустах впереди батарей, и они повернули обратно.

— Опять эти уральцы торчат перед нами, как шиши, благодарю покорно! — возмущенно говорил Рыжов Войниловичу, к которому перешло теперь командование Лейхтенбергским полком.

Уральцам приказал Липранди вытянуться развернутым фронтом шагах в сорока за батареями и шагах в пятидесяти от гусар, построенных в колонны к атаке.

— Они нас прикрывают теперь от всех напастей, — пытался улыбаться Войнилович.

Первым врезавшийся в гущу красных драгун, он чудесно вышел из сечи без царапины, и эта удача его очень ободрила, — ради нее он готов был извинить даже и уральцев.

Шестой эскадрон Веймарского полка был поставлен Липранди с правого фланга уральцев под прямым к ним углом, а три эскадрона улан полковника Еропкина — с левого фланга, укрыто за холмом, заросшим кустами. Получался как бы бредень из конницы, в мотне которого таилась бригада Рыжова.

Чтобы четвертый редут, покидаемый Одесским полком, как слишком удаленный, не был занят союзными батареями снова, Липранди приказал срыть вал и уничтожить все прикрытие на этом редуте, после чего отступить. Одесцы и сделали это не спеша, хотя их и обстреливали с Сапун-горы. Три орудия они сбросили с холма, как было приказано, но Раглану показалось, что русские, отходя, потому что не могут держаться, увозят и английские пушки.

Он сделал простой подсчет: на Алме, у аула Бурлюк, после кровавого боя и больших потерь англичанам удалось захватить только два легких подбитых русских орудия, брошенных в эполементе за полным истреблением лошадей и прислуги при них; а здесь, где англичане чувствовали себя дома, вдруг неожиданно ворвавшись, русские захватили и увозят, отступая, не два, а одиннадцать крупных орудий,

из которых восемь крепостных!.. Что будут писать после этого о нем, Раглане, «Таймс» и другие газеты Англии? Пусть виноваты в этом турки, бежавшие из редутов, но кто же посадил турок защищать редуты, как не он сам, Раглан, почти уже маршал Англии?

И Раглан тотчас же, — это было около полудня, — послал приказ графу Лукану, который командовал всей вообще конницей англичан.

Приказ этот был короток, ясен и прост: бросить вслед отступающим русским всю кавалерию, разбить их, занять их позицию и отнять увозимые ими английские пушки. Старый Каткерт получил тоже приказ закрепить успех конных полков.

Раглан считал стыдом для себя и для целой Англии обращаться за помощью к французам: победа над русскими должна была завершиться силами одних только английских полков.

Лукан тоже видел отход русских батальонов с четвертого редута; но вот отошли они и стали, и никаких следов отступления нигде в русских войсках. Куда же было пускать конницу в атаку?

Лукан медлил, время шло, — Раглан наблюдал с Сапун-горы бездействие своей кавалерии и бесновался.

От генерал-квартирмейстера Эри послан был к Лукану один из адъютантов, капитан Нолан, с запиской.

«Лорд Раглан желает, чтобы кавалерия, двинувшись быстро, преследовала неприятелям старалась во что бы то ни стало воспрепятствовать ему увезти наши орудия. Конная артиллерия может вам содействовать. Французская кавалерия — на вашем левом фланге. Немедленно».

Лукан прочитал приказ, огляделся кругом, всмотрелся в расположение русских и ничего все-таки не понял.

Французскую кавалерию слева от себя он видел, конную артиллерию справа от себя он тоже видел, но не видел отступления русских и не знал, куда направить атаку.

И он сказал Нолану:

— Я не могу исполнить того, чего нельзя исполнить. Приказ для меня совершенно неясен.

— Как неясен? — удивился Нолан. — Нужно атаковать нашей кавалерией русских.

— Нельзя преследовать того, кто не отступает, — вы меня поняли? — сердился Лукан. — Я не вижу, чтобы русские увозили наши пушки... Куда же должен пустить я свою кавалерию?

— Туда, милорд! — Нолан решительно указал рукой на редуты. — Там наши враги, там наши пушки, которые должны быть отбиты вами.

Из двух бригад, которые были под командой графа Лукана, свежей была только легкая бригада Кардигана.

Кавалерия Англии тех времен была предметом совершенно исключительных забот, внимания и надежд правительства, общества и печати.

При майоратной системе, когда только первенцы наследовали своим отцам в обладании именьями, все прочие помещичьи сынки, покупая офицерские чины, охотнее всего поступали и принимались именно в кавалерию, где для них изобреталось столько должностей, что число офицеров в полках едва не равнялось числу простых солдат, взятых по вербовке. И каждый вступающий в семью офицеров кавалерии считал долгом чести ввести в конский состав полка лошадь исключительных качеств.

Конские состязания — дерби — воспринимались всею Англией, как национальный праздник, заставляющий в этот день жить одною жизнью и лордов, и их поваров, и горничных, и миллионеров Сити, и последних уличных нищих, словом, как принято было говорить тогда: «весь свет и его жену» (all the world and his wife). Когда несколько кровных лошадей английской кавалерии утонуло при высадке десанта, об этом писали во всех английских газетах, как о большом несчастье.

Дерзкая атака русских гусар стоила также не одного десятка этих великолепных животных, а запальчивость Скарлета, бросившегося вдогонку за уходившей бригадой Рыжова, значительно увеличила число выбывших из строя коней. И вот теперь совершенно безумный приказ лорда Раглана ставил под удар русских пушек и стрелков и человеческую знать Англии и конскую знать.

Когда гусары Рыжова атаковали тяжелую конницу Скарлета, легкая кавалерия лорда Кардигана — бригада в пять полков по два эскадрона в каждом — стояла во второй линии, в резерве, и ничем не помогла

красным драгунам, даже не двинулась с места. Даже когда капитан Моррис, командир уланского полка, сам просился идти на помощь драгунам, Кардиган отказал ему в этом.

Как и Скарлет, Кардиган, дожив до пятидесяти семи лет, совсем не имел военного опыта и не участвовал ни в одном сражении. Бой на Алме был первый виденный им бой, и воспринимал он его только издали, как любой зритель.

Теперь, после того как бригада Скарлета понесла потери, она была отправлена во вторую линию, а в первой стояли пять полков Кардигана.

К ним подъехал вместе с Ноланом граф Лукан, когда Раглан повторил свое приказание.

— Вы должны бросить свою бригаду в атаку на... русскую кавалерию, — сказал Кардигану Лукан.

Быть может, это было неожиданно даже для самого Лукана, что с языка его сорвалось слово «кавалерия»: в приказе Раглана не было этого слова, однако в приказе этом не было указано и вообще никакого определенного пункта для атаки.

— Значит, я должен пустить бригаду этой долиной? — указал Кардиган в ту сторону, где стояли за жидкой оградой уральцев плотные колонны гусар

Рыжова.

— Да, именно этой долиной, — подтвердил Лукан, так как не видел возможности для конницы скакать на редуты.

— Мы попадем в мешок, — сказал возмущенно Кардиган. — Вы видите, надеюсь, батареи русских против нашего фронта, а на обоих флангах еще батареи и стрелков?

— Вижу, — ответил Лукан. — Но что же делать? Нам с вами не остается ничего другого, как только исполнить приказ главнокомандующего.

При этом разговоре двух генералов присутствовал и капитан Нолан. То, что говорилось о долине и русской кавалерии, показалось ему полным извращением приказа Раглана. Ведь приказано было отбить английские пушки, которые были еще там, в стороне редуты.

И он поскакал слева направо перед фронтом, указывая рукой на

третий редут и крича:

— Туда! Туда!

Это было картинно, но пущенная со стороны третьего редута граната разорвалась около Нолана, и ударило его в голову осколком.

Испуганный конь помчал его, залитого кровью и мозгом и запутавшегося ногами в стремях, далеко прочь от фронта, но это прозвучало для колебавшегося Кардигана категоричнее приказа главнокомандующего. Он подбросил голову, сказал Лукану: «Мы пойдем!» — выхватил саблю и прокричал командные слова атаки.

V

Гусары — лейхтенбергцы и веймарцы — отдыхали после атаки.

Удачна она была или нет, но она была произведена ими безотказно, и отдых свой они считали заслуженным.

Больше того: они полагали, что сражение вообще окончено, — уже час с лишним стояли они как бы в резерве.

Офицеры спешили. Даже сам Рыжов слез со своего нового коня размять затекшие старые ноги.

Он спросил унтера Захарова, какое имя носит этот конь, чтобы и он знал, как надо к нему обращаться. Но бравый унтер, с опасностью для собственной жизни спасший генеральское седло от гибели, несколько замялся с ответом, наконец сказал как-то, пожалуй, даже стыдливо:

— Так что, ваше превосходительство, жеребец мой всем справный, а имя дали ему вроде как совсем незавидное.

Оказалось, что жеребца звали «Перун», но солдаты по-своему переделывали все пышные имена коней, какие придумывали для них офицеры. И вместо кобылы «Дарлинг», например, получалась кобыла «Дарья», вместо «Марии Терезии» — «Марья Терентьевна»... В этом же роде, простонародно, только совсем неудобопроизносимо, переименовано было и звучное имя «Перун».

Все-таки Рыжов, несмотря на такое неприличное имя коня Захарова, обещал добродушно этому бравому унтеру внести его в список отличившихся во время боя гусар.

Ординарец же Халецкого, который стоял теперь в строю, в первом

ряду первого эскадрона, оказался спасителем командира полка: он схватил за грудки того английского драгуна, который ранил Халецкого, и с первого удара своей златоустовской саблей перерубил его латы, а со второго зарубил насмерть.

Это был тот самый богатырски сложенный и большой военной сметки гусар, который захватил в плен близорукого полковника генерального штаба Ла-Гонди перед сражением на Алме, за что получил от Меншикова полтора ста рублей ассигнациями и крест.

Теперь Рыжов обещал ему второй крест.

И Сороку не забыл он и его поздравил с будущим крестом, но все-таки осмотрел его лошадь со всех сторон. Никаких грязных пятен на ней теперь не оказалось.

— Когда же ты успел ее вычистить, Сорока? — спросил Рыжов.

— Никак нет, ваше превосходительство, не чистив, — простосердечно ответил Сорока. — Так что сама собою обчистилась.

И небо было чистое, голубое. Стрельба из пушек редкая. Казалось всем, и самому Рыжову, что едва ли что-нибудь еще разыграется в этот день.

И вдруг тревожные крики со стороны батареи донцов:

— Кавалерия с фронта!.. Кавалерия с фронта!..

Это вихрем мчалась по долине прямо на них бригада Кардигана. Некогда было даже и вглядываться и прикидывать на глаз число эскадронов; впору было только вскочить самим в седла.

Беспорядочную пальбу открыли штуцерные там, впереди; два-три заряда картечи успели выпустить донцы; но полки англичан мчались таким бешеным аллюром, что это не остановило и не могло остановить их.

Вот они уже налетели на батареи донцов и начали рубить прислугу и заклепывать орудия, чтобы увезти с собою на обратном пути.

Жидким строем стоявшие уральцы повернули коней и кинулись на лейхтенбергцев. И так недавно еще рубившиеся с красными драгунами лейхтенбергцы не выдержали этого напора. Кто-то бессмысленно крикнул «ура!», другие подхватили, и все беспорядочной массой нажали на веймарцев...

За веймарцами дальше был деревянный мост, через Черную речку,

над водопроводом, доставлявшим воду в севастопольские доки. Перед самым мостом с этой стороны стояла конная батарея 12-й дивизии.

Видя растерянность уральцев и гусар, мчавшихся к мосту, желая спасти орудия, артиллеристы повернули лошадей к тому же мосту, чтобы проскочить на другой берег Черной.

Но сюда же мчались и казаки донской батареи, огибая беспорядочно толпившихся и кричавших гусар. Донцы спасали только себя, упряжки и передки, орудия же были ими брошены на позиции.

Домчавшись до моста раньше веймарцев, артиллерия загвоздила мост. Иные гусары гнали коней просто в воду, хотя берега Черной были тут очень топкие, другие же остановились поневоле; эскадроны англичан наседали на плечи и рубили, — нужно было защищаться.

Напрасно, выпучив глаза и надрываясь до хрипа, кричал Рыжов:

— Куда-а?.. Братцы, сто-ой! — его, командира бригады, теперь уже никто не слушал.

Он видел, как недалеко от него хотел было собрать своих лейхтенбергцев полковник Войнилович, но только унтер Зарудин конь о конь с ним бросился навстречу английским уланам, и оба они были мгновенно смяты и пронизаны пиками у него на глазах.

Тогда он выхватил саблю. Он перестал уже самому себе казаться Мюратом. Как ни неожиданно свалилась гибель на его гусар, он обвинял в ней себя и хотел бросить Перуна в ряды англичан. Он искал смерти.

Однако Перун не шел вперед, он упирался, нагнув голову, — потом рванулся в сторону за каким-то гнедым конем: это Захаров дернул его по-хозяйски за поводья, чтобы выхватить своего генерала из злой сечи.

Все кругом неразборно перепуталось и смешалось: уральцы в рыжих шапках, лейхтенбергцы в черных ментиках, уланы и гусары Кардигана, сабли и пики, лошади разных мастей... Орало, гоготало, визжало, стонало, звякало, стреляло из пистолетов и карабинов, гулко топало копытами по дереву моста, звонко сваливалось в воду, вязло в пожелтелых чашах осоки на речке...

Батальон Украинского полка, стоявший в резерве за речкой, и рота — прикрытия обоза 12-й дивизии, не открывавшие огня, чтобы не

перестрелять своих, — стали в каре и ощетинились штыками для встречи неприятельской кавалерии, как это было предписано уставом полевой службы.

И большая часть передового эскадрона англичан сгоряча проскочила уже по мосту на другой берег, гоня перед собою казаков и гусар, но Кардиган понял, что чем дальше заберется он в расположение русских, тем труднее будет ему возвращаться обратно, и теперь уже английские, а не русские трубы трубили отбой.

Однако и Липранди заметил, что безумно-стпемительная атака английской конницы не поддерживается почему-то ни артиллерией, ни пехотой.

С холма, на котором он стоял, он видел разгром донцов, уральцев и гусар Рыжова. У него оставался только сводный полк улан Еропкина. К нему он послал Виллебрандта: уланы должны были отстоять честь русской кавалерии — ударить во фланг англичанам, когда придется им отступить.

Батальоны Одесского полка придвинулись на ружейный выстрел из гладкостволок; стрелки-штуцерники стянулись спешно к тому склону долины, по которому промчались эскадроны Кардигана; легкие батареи выстроились за стрелками с той и другой стороны.

Можно было думать, впрочем, и так, что Кардиган будет возвращаться какую-либо другой дорогой и тем совершенно спутает карты Липранди.

Но было великолепное презрение к опасности у этого пятидесятилетнего лорда, или просто отуманил его легкий успех, одержанный над русскими: именно по тому же самому пути, уже усеянному трупами своих убитых людей и лошадей, в порядке, изумительном для отступающей кавалерии, совершенно как на учении близ лагеря, возвращалась сильно уже поредевшая легкая бригада, и офицеры-уланы полка Еропкина, глазами знатоков кавалерийской службы наблюдая этот обратный марш, переглядывались удивленно, даже готовясь к своему фланговому удару.

Кардигану пришлось забыть о заклепанных, готовых к увозу в английский стан орудиях донцов, мимо которых он несся теперь; предварительные команды: «По отступающей кавалерии вдогонку

пальба ротою», — отзвучали уже в ротах одессцев; теперь раздавались только короткие исполнительные: «Рота... пли!»

Залп следовал за залпом. Одиночные стрелки-штуцерники развили самый частый огонь. Картечь рвалась над головами скакавших... Пройденный путь оказался теперь крестным путем.

Через головы убитых или тяжело раненных коней летели всадники, кони скакали, волоча всадников, которые были тяжело ранены или убиты.

Наконец, выждав свой момент, кинулись из засады во фланг отступавшим с пиками наперевес, поэскадронно, уступами, три эскадрона сводных улан.

Кое-кто из солдат Одесского полка принял их за англичан тоже потому, что были они на разномастных лошадях, чего в русской коннице не допускалось; в них полетело несколько своих пуль, и оказались убитые лошади и раненые люди; это произвело замешательство в уланах и спасло не одного из английских кавалеристов.

Но атака все-таки произошла и была сокрушительной. Началась жестокая схватка. Даже отрезанные, англичане не сдавались в плен, и часть их все-таки пробилась.

За самим Кардиганом погналось было несколько человек улан, но конь его был известный всей Англии дербист, лауреат ипсонских скачек; он умчал своего хозяина, неудержимо махавшего влево и вправо саблей, и мчал его так стремительно, что оказался далеко впереди жалких остатков легкой бригады, добравшихся до английских позиций.

Под начальством Кардигана было до тысячи прекрасных всадников на породистых конях в начале его безумной атаки и всего около двухсот, из которых только третья часть была нераненых, — в конце. Легкая кавалерия англичан перестала существовать.

Наблюдавший рядом с Рагланом начало и конец действий этой конницы генерал Боске сказал ему:

— Я ничего и никогда не видел великолепнее сегодняшней атаки, но, к сожалению, так совсем нельзя воевать!

Французская кавалерия в этот день воевала более расчетливо. Это была бригада африканских конных егерей под командой генерала д'Алонвиля. Она одержала немало побед над алжирскими кабилами во время восстания Абд-эль-Кадера. Егеря помчались в атаку немного позже Кардигана. Им было приказано нанести поражение отряду Жаббкритского на Федюхиных высотах, артиллерия которого очень досаждала союзникам.

Д'Алонвиль разделил свою бригаду на два отряда, чтобы одним уничтожить артиллерийскую прислугу, другим — пехоту.

Атака обоих отрядов егерей была стремительна, но два неполных батальона владимирцев — все, что осталось от полка после сражения на Алме, — встретили африканцев таким сосредоточенным огнем, что д'Алонвиль счел за лучшее повернуть обратно.

Эта атака помогла остаткам конницы Кардигана проскочить остаток их пути — около четвертого редута, где они могли бы быть совершенно истреблены батареями с Федюхиных высот, но зато вывела из строя до полусотни егерей д'Алонвиля.

Так закончилось к часу дня дело под Балаклавой, единственное в своем роде.

Как флот союзников после 5/17 октября больше уже ни разу всей своей массой не подходил к грозным севастопольским фортам с желанием померяться с ними силой, так и конница ярко блеснула через неделю после того на Балаклавской долине как будто только затем, чтобы потом совершенно угаснуть и предоставить дело войны только сухопутной артиллерии и пехоте.

Перестрелка в тот день тянулась еще часа три, но была уже выдыхающаяся, вялая, бесцельная.

Собрались и выстроились в боевой порядок дивизии союзников, но оба главнокомандующих согласились с тем, что силы их слабы для наступления, и отвели, наконец, войска, уступив поле сражения русским.

Раглан был под тяжелым впечатлением полного истребления бригады Кардигана и боялся еще значительно увеличить свои потери. Неудача этого дня поразила старца чрезвычайно.

— Как могли вы атаковать русскую батарею с фронта вопреки всем

решительно правилам войны? — сильно повысив голос, спрашивал он Кардигана.

— Я только подчинялся правилам воинской дисциплины, — отвечал Кардиган. — Мне было приказано это сделать графом Луканом.

— Так, значит, это вы, вы, милорд, погубили нашу легкую бригаду? — обратился Раглан к Лукану.

— Но ведь я только передал лорду Кардигану ваш же категорический письменный приказ! — отвечал Лукан.

Меншиков, наблюдавший за ходом сражения издали, от Чоргуна, откуда далеко не все было для него ясно, появился на позициях, занятых Липранди, только тогда, когда артиллерийская пальба совершенно утихла, когда Виллебрандт, посланный к нему, в самых ярких красках изобразил ему успехи русских войск.

Виллебрандт всегда казался Меншикову наиболее пустым из его адъютантов. Между прочим, он почему-то отстаивал мнение, что крупные линейные корабли союзников ни за что не пройдут в узкие ворота Балаклавской бухты. Но он попал к нему в адъютанты по желанию сына царя, Константина, «августейшего начальника флота». Зная способность этого капитан-лейтенанта слишком увлекаться во время изложения даже совершенно мизерных событий, Меншиков тем более не вполне доверял ему теперь. Но оставалось бесспорным то, что 12-я дивизия не отступала, как армия на Алме, одно это приходилось уже считать видным успехом.

В Меншикове рождалось странное для него самого чувство. Не то чтобы это была мелкая зависть к генералу Липранди, которому удалось то, чего не добился он, — одержать успех над союзниками в открытом поле, — нет, конечно; все-таки, совершенно наперекор своему желанию казаться обрадованным победой, Меншиков придирчиво присматривался ко всему кругом, что он видел, когда подъезжал к мосту через Черную речку.

На перевязочном пункте, приткнувшемся около обоза, ему показалось прежде всего слишком много раненых — гораздо больше, чем можно было предположить, судя по рассказам Виллебрандта. Поток раненых еще не прекратился, — кто шел сам, кого несли на руках. Больше было раненных в лицо и голову теми самыми саблями, по поводу

которых так еще недавно, на балу в Бородинском полку, пытался он острить, что их полгода точили, перетачивали и дотачивали в разных городах Англии.

Мост через Черную ясно говорил о кровавой схватке на нем. Между кустов острой, как сабли, рыжей осоки барахталась, разбрызгивая грязь, и ревела, как бык, подстреленная кавалерийская лошадь... Какие-то колеса торчали из воды на мелководье...

Среди других трупов русских солдат бросился в глаза светлейшего раскинувшийся на пригорке труп знакомого ему унтер-офицера богатыря Зарудина.

Приостановив лошадь, он по-стариковски покачал головой, обращаясь укоризненно к Виллебрандту:

— Вот какого молодца потеряли мы, а вы мне говорите!..

— А разве из убитых англичан мало молодцов, ваша светлость? Мы сейчас будем ехать мимо них... Их несколько сот валяется, если не вся тысяча! — успокаивал его возбужденно Виллебрандт.

Действительно, дальше все гуще и гуще лежали трупы гусар, драгун и улан Кардигана, и все это был очень рослый, красивый, видимо тщательно подобранный народ в красивых мундирах. Породистые крупные лошади, как раненые, так и здоровые, но потерявшие своих хозяев, бродили, опустив к земле шеи, около тел или сходились кучками и медленно кивали головами, может быть то же самое думая, что думал и старый светлейший над трупом храброго Зарудина.

Ожидавший приезда главнокомандующего, удачливый генерал Липранди подъехал к нему с готовым уже рапортом и, передавая бумажку, отчетливо перечислил все подвиги своего отряда в этот день: взяты редуты, одно турецкое знамя, одиннадцать орудий, шестьдесят патронных ящиков, турецкий лагерь, шанцевый инструмент и прочее; сосчитанные потери противника: сто семьдесят турок, убитых в штыковом бою при занятии редута № 1; прочие потери противника, так же как и свои потери, приводятся в известность; в плен взято шестьдесят англичан, из них три офицера.

Несмотря на несомненно пережитые им кое-какие тревоги этого дня, Липранди имел, к удивлению Меншикова, свой обыкновенный вид человека, у которого, как у ротного фельдфебеля, в голове всегда и

при любых обстоятельствах должно быть ясно и бывает ясно.

Безукоризненно фронтовой, сидел ли он на коне, или был пешим, генерал этот почему-то был неприятен Меншикову, и ему все хотелось найти в нем какие-нибудь явные недостатки, а в том, что он отрапортовал так отчетливо по-строевому, — какую-нибудь подтасованность или просто фальшь.

После рапорта он пожал ему как мог крепко руку своей большой, но холодной рукой; он сказал ему, даже как будто растроганно:

— Благодарю вас, Павел Петрович, искренне благодарю вас!.. Вы очень, очень обрадуете государя этой победой... очень!

Он даже приветливо улыбнулся при этом, именно так, как по его же собственному представлению, улыбался бы заждавшийся победы русского оружия над союзными силами сам Николай.

Но в то же время он переводил глаза с правильного, как будто тоже вытянутого во фронт, молодежавого лица Липранди на весьма некрасивое, даже несколько курносое, как-то уж очень подчеркнуто простонародное пожилое лицо Семякина, и ему, — пока еще как-то неясно, почему именно, — хотелось, чтобы героем этого дня был не ясноголовый, проглотивший аршин Липранди, а сутуловатый и угловатый, не имеющий никакой выправки Семякин.

— Шестьдесят англичан, вы говорите сдались? Нераненых? — спросил он без задней мысли Липранди.

— Большой частью раненые, ваша светлость, а из офицеров один не англичанин даже, а сардинец, адъютант самого Раглана, — ответил Липранди.

— А-а! Вот как! Раглана!.. Вы мне его потом покажете... Однако наши гусары бежали от английских, как я это видел из Чоргуна.

И Меншиков сделал при этом свою привычную гримасу.

— Они их заманивали в ловушку, ваша светлость, — невозмутимо объяснил Липранди. — Не совсем умело сделали это и пострадали при этом, но что же делать: без этого не удалось бы так чисто уничтожить англичан.

Меншиков внимательно смотрел на него и думал, сделал ли он сам ошибку, что не доверил ему всех сил, какие были у него на Бельбеке, или не сделал.

Собственно этот вопрос и мучил его с тех пор, как Виллебрандт примчался к нему вестником победы: не упустил ли он счастливого случая, который, может быть, и не повторится? Если так удачно захвачены редуты и деревня Комары в тылу англичан, то ведь, развивая этот успех при более крупных силах, может быть можно было захватить в этот день и Кадык-Кой и Балаклаву? А если в это же время сделать вылазку большею частью сил севастопольского гарнизона, то, может быть, союзникам пришлось бы подумать и о посадке на свои суда, и была бы окончена Крымская война?

Когда Липранди обратился к нему, — не пожелает ли он посмотреть редуты, отнятые у союзников, — Меншиков внешне с большой готовностью

отозвался:

— Непременно, непременно посмотрю! — и помахал слегка плеточкой около правого глаза своего тихоходного коня, чтобы он прибавил ради такого предлога рыси.

Но вопрос, овладевший им, продолжал торчать в нем и требовать ответа. Первый редут, с которого начали осмотр, удивил Меншикова высотой и крутизной холма, на котором он был построен. Когда же узнал он от Липранди, что своих азовцев вел на приступ лично Семякин, князь нелицемерно расцвел, поздравляя угловатого командира бригады.

— Где вы получили образование? — спросил он Семякина.

— В академии генерального штаба, ваша светлость, — несколько выпрямился сообразно с требованием момента Семякин.

— А-а!.. Вот видите, да... генерального штаба! Я почему-то именно так и думал, — пристально и благосклонно оглядывал его Меншиков.

Теперь ему показалось вдруг, что он нашел решение своего вопроса. Успех этого дня принадлежит совсем не щеголю Липранди, а вот этому генерал-майору, такого невзрачного вида, но академику и имеющему большой уже военный опыт, которого, между прочим, не имел никто из его адъютантов.

Дело было в том, что в последние дни он начинал уже склоняться к мысли о главном штабе, так как был уже назначен главнокомандующим армиями Крыма — звание, которого официально

он не имел раньше. Но он затруднялся найти себе начальника штаба. И вдруг именно здесь, на холме Канробера, ему показалось бесспорным, что более подходящего на эту должность, чем бригадный генерал Семякин, он не найдет.

Он подробно расспросил Семякина о его прежней службе. Он сознавался самому себе, что несколько отстал от современных требований, как вождь сухопутных армий, что помощь в этом нужна была ему, конечно, а перед ним был боевой генерал-майор, как оказалось, речистый, несмотря на свою угловатость, и, видимо, деловой.

Решение взять Семякина в начальники своего будущего штаба зрело в Меншикове, когда он поднимался на холм и входил в редут. Но вот он увидел груды тел убитых турок и солдат-азовцев, поморщился и сказал Липранди тоном приказа:

— Закопать надо!

— Если, ваша светлость, нас не вздумают ночью выбить отсюда, то завтра же закопаем, — ответил Липранди.

Этот ответ не понравился князю.

— Выбить?.. Как так выбить отсюда? — повысил он голос. — Нет-с, этих редутов уступить нельзя! Я прикажу придвинуть сюда к ночи бригаду драгун. Сам я тоже останусь здесь, в Чоргуне, — здесь и на будущее время будет моя штаб-квартира... Нет, редутов этих мы никому не отдадим!.. Мы можем их не занимать сами, — это другое дело. Но все трупы из них вынести и закопать непременно.

Поглядев еще раз на убитых, он спросил вдруг Семякина:

— А если бы в редутах сидели не турки, то как вы полагаете, были бы они взяты?

— Они потребовали бы тогда гораздо больше жертв с нашей стороны, но все-таки были бы взяты сегодня, — очень твердо ответил Семякин, и Меншиков вышел из редута, также очень твердо решив, что начальник его будущего главного штаба им счастливо найден, но счастливый случай захватить с боя Балаклаву потерял, потому что едва ли можно уж было теперь надеяться встретить на ответственных местах укрепленной линии союзников турок.

Он остался действительно ночевать в Чоргуне, — в первый раз на

целый месяц не на бивуаке, а в доме, какой его адъютанты нашли более удобным. А на другой день по его приказу из Севастополя произведена была вылазка двумя полками — Бутырским и Бородинским — на Сапун-гору. Полки эти должны были поддерживать отряды Липранди и Жабокритского, чтобы выбить корпус Боске с Сапун-горы. Но вылазка не удалась, и оба полка вернулись в Севастополь с большими потерями. Боске же с этого дня начал усиленно укрепляться.

Однако отобрать редуты на холмах, которые Меншиков приказал на картах обозначить, как «Семякины высоты», союзники тоже не покушались.

## VII

Казачи в Чоргуне продавали офицерам переловленных ими английских лошадей по дешевке: за три, за два империала, иногда и за один. А когда до Англии дошла злая весть о гибели легкой конной бригады Кардигана, возмущению газет не было меры.

Спасшегося от смерти благодаря только быстроте бега своей лошади Кардигана обвиняли в том, что он позорно бросил свой отряд и бежал с поля сражения гораздо раньше, чем его кавалерия доскакала до русских орудий. Его отставили от командования легкой конной бригадой, — впрочем, ему уж нечем было и командовать.

Лорд Лукан, травимый газетами, вынужден был просить, чтобы наряжена была комиссия для расследования его действий в этом злополучном для англичан сражении.

Правительство спешно снимало полки из гарнизонов Мальты, Корфу, Пирея, Дублина, Эдинбурга; их сажали на пароходы и отправляли в Крым; но газеты не удовлетворялись этими мерами, они писали, что это только капли на горячий камень. И это писали те же самые журналисты, которые за месяц до того уверяли английскую публику, что Севастополь — совершенно картонный город и рассыплется при первых же залпах английских пушек.

Необычное волнение и в Париже вызвали депеши об успехе русских войск под Балаклавой. Как ни старался братец Наполеона граф Морни сохранить спокойствие на бирже, она отозвалась на это событие

понижением курса почти на франк.

Издатели иллюстрированных журналов, заранее заготовившие рисунки Густава Доре и других известных тогда художников, изображающие величественный приступ французских войск, отчаянный штурм и взятие Севастополя, конфузливо спрятали эти иллюстрации в долгий ящик.

Султан Абдул Меджид предал военному суду бежавшего из редутов со всем своим отрядом генерала Сулеймана-пашу. Под давлением английского посланника в Константинополе, лорда Радклифа, суд приговорил Сулеймана-пашу к смертной казни. «По неизреченному милосердию своему», султан смягчил этот приговор — разжаловал осужденного в рядовые на семь лет.

В Петербурге вестником победы под Балаклавой был Виллебрандт. Он явился в гатчинский дворец с донесением Меншикова рано утром, когда царь был еще в постели. Несколько дней он скакал на перекладных по осенне-звонким и осенне-грязным, но одинаково ухабистым дорогам без отдыха и без сколько-нибудь продолжительного сна, так как ухабы и кочки не давали заснуть во время езды, поминутно и жестоко встряхивая тележку.

Едва только успев сдать донесение светлейшего дежурному генералу для передачи царю, Виллебрандт свалился в мягкое кресло и уснул, как убитый.

Николай поднялся, как всегда, рано. Донесение Меншикова о победе так обрадовало его, что он тут же захотел расспросить адъютанта светлейшего о подробностях боя; но Виллебрандта никто не мог добудиться.

Его трясли за плечи, всячески тормошили, щекотали за ушами и подмышками, наконец стащили с кресла на пол, — он даже и не мычал в ответ, как это принято у крепко спящих; он продолжал спать и на полу.

— Я его разбуду сейчас сам! — весело сказал Николай, вышедший на эту возню с мертвецки сонным адъютантом из своего кабинета.

Он наклонился, насколько позволил это ему громадный рост, и гаркнул в лицо спящего:

— Ваше благородие! Лошади поданы!

— А, лошади? Счас! — И Виллебрандт вскочил и испуганно замигал белыми ресницами, разглядев перед собой самого царя.

Но он проснулся уже не капитан-лейтенантом, а полковником артиллерии и флигель-адъютантом. Он сделал скачок через чин, как до него сделал то же самое Сколков, очевидец Синопского боя, так же точно посланный к царю Меншиковым, а немного позже Сколкова восемнадцатилетний прапорщик Щеголев, отстаивавший с четырьмя мелкими орудиями Одессу от обстрела союзной эскадры и произведенный за это сразу в штабс-капитаны.

При личном докладе царю о сражении Виллебрандт дал полную волю своей живой фантазии.

У него лейхтенбергцы и веймарцы не бросились в беспорядке толпою на мост под натиском англичан, а «встретили их по-хозяйски и тесали их саблями без всякого милосердия!» У него командир сводных улан полковник Еропкин, имея саблю в ножнах, «так свистнул кулаком по башке одного англичанина, что тот кувыркнулся с лошади замертво и потом попал к нам в плен...»

После подобного доклада Николай расчувствованно расцеловал Виллебрандта и оставил его во дворце обедать, как следует выпасться, а на другой день скакать снова в Севастополь с письмом Меншикову.

«Слава богу! Слава тебе и сподвижникам твоим, слава героям-богатырям нашим за прекрасное начало наступательных действий! — писал царь светлейшему. — Надеюсь на милость Божию, что начатое славно довершится так же.

Не менее счастливит меня геройская стойкость наших несравненных моряков, неустрашимых защитников Севастополя... Я счастлив, что, зная моих моряков-черноморцев с 1828 года, быв тогда очевидцем, что им никогда и ничего нет невозможного, был уверен, что эти несравненные молодцы вновь себя покажут, какими всегда были и на море и на суше. Вели им сказать всем, что их старый знакомый, всегда их уважавший, ими гордится и всех отцовски благодарит, как своих дорогих и любимых детей. Передай эти слова в приказе и флигель-адъютанту князю Голицыну вели объехать все экипажи с моим поклоном и благодарностью.

Ожидая, что все усилия обращены будут англичанами, чтоб снова овладеть утраченной позицией; кажется, это несомненно, но надеюсь и на храбрость войск и на распорядительность Липранди, которого ты, вероятно, усилил еще прибывающими дивизиями, что неприятелю это намерение недаром обойдется.

Вероятно, дети мои придут еще вовремя, чтобы участвовать в готовящемся; поручаю тебе их; надеюсь, что они окажутся достойными своего звания; вверяю их войскам в доказательство моей любви и доверенности; пусть их присутствие среди вас заменит меня.

Да хранит вас господь великосердный!

Обнимаю тебя душевно; мой искренний привет всем. Липранди обними за меня за славное начало...»

Одновременно с этим письмом Николая императрица также писала Меншикову. В ее письме было только повторение просьбы ее, уже высказанной раньше и присланной с другим фельдъегерем, — беречь великих князей. Это было чисто материнское дополнение к воинственному письму ее мужа.

В те времена при петербургском дворе, как, впрочем, и во всей тогдашней Европе, процветал месмеризм, называвшийся по-русски «столоверчением». Устойчиво верили в то, что можно вызывать души умерших и даже беседовать с ними на разные текущие темы, предполагая в них как «бесплотных и вечных», безусловное знание настоящего и будущего тоже.

У иных это странное препровождение времени каким-то непостижимым образом связывалось с неплохим знанием точных наук, с чисто деловым складом мозга, с обширными практическими предприятиями и заботами, которыми они были заняты всю жизнь.

К этим последним принадлежал, между прочим, инженер-генерал Шильдер, учитель Тотлебена, умерший при осаде Силистрии от раны.

Этот старый сапер, отлично умевший делать укрепления разных профилей, проводить мины и контрмины и взрывать камуфлеты, очень любил «вызывать» дух Александра I и беседовать с ним часами.

Однако и во дворце Николая, — правда, на половине императрицы, — тоже часто беспокоили усопшего в Таганроге «Благословенного» вопросами о том, что готовит ближайшее будущее.

После того как отправлен был в обратный путь Виллебрандт, — уже как флигель-адъютант и полковник, — на половине императрицы, беспокоившейся не столько об участи Севастополя, сколько о безопасности своих двух сыновей, Николая и Михаила, выехавших в это время от Горчакова к Меншикову, состоялось таинственное столоверчение, и вызывался, по обыкновению, дух Александра.

Предсказания его на ближайшее будущее были вполне успокоительны и благоприятны.

Даже когда отважились задать ему вопрос, когда и чем именно закончится война, он, отвечавший раньше на такие вопросы очень неохотно и уклончиво, ответил решительно, что окончится скоро и со славой для России.

Это предсказание немедленно было сообщено Николаю.

## VIII

Между тем Меншиков, может быть даже более, чем сам Николай, был взбодрен неожиданным и дешево стоившим успехом Липранди.

По самым подробным спискам потери оказались небольшие, — всего пятьсот пятьдесят человек, в то время как вдвое, если не втрое больше потеряли союзники. А главное, они после этого дела значительно ослабили обстрел Севастополя, справедливо опасаясь за свой тыл.

Меншиков понимал, конечно, что Раглан и Канробер все усилия клали теперь на укрепление своего лагеря, особенно подходов к Балаклаве. Это он знал и из допросов перебежчиков, хотя к тому, что говорили перебежчики, всегда относился без особого доверия. Очень скрытный вообще, — что было свойственно старому дипломату, — во всех вопросах, касавшихся его военных планов, он часто один, с ординарцем-казакон, подымался на лошаке на высокий холм около Чоргуна, в котором жил теперь, и отсюда подолгу всматривался во все окрестности и делал чертежи в записной книжке.

Лопухого лошака он теперь решительно предпочел лошади за его способность всходить на какую угодно крутизну и спускаться с нее, не проявляя при этом никакой излишней и вредной прыти и не спотыкаясь.

Остальные дивизии 4-го корпуса — десятая и одиннадцатая — подходили в эти дни частями и накапливались около Чоргуна. Перебежчики были и из русского лагеря к союзникам (большей частью поляки), и, конечно, они так же, как и шпионы из местных жителей, должны были передавать союзному командованию, что скопляются большие русские силы у Чоргуна. Впрочем, в телескопы это можно было разглядеть без особых затруднений и с Сапун-горы.

На это и надеялся Меншиков: это входило в его планы; дипломат тут приходил на помощь стратегу. Даже своих адъютантов не посвящал он в то, что обдумывалось им в одиночку, и одному из них, полковнику Панаеву, поручил подыскать для армии проводников из местных татар, хорошо знающих всю местность в направлении к Балаклаве.

Когда венский гофкригсрат спросил Суворова, каков его план действий против войск французов, тот, как известно, выложил на стол совершенно чистый лист бумаги, сказав при этом: «Вот мой план!.. Того, что задумано в моей голове, не должна знать даже моя шляпа».

Это правило великого воина — скрытность задуманных операций — было прекрасно усвоено Меншиковым. Но Суворов сам и выполнял свои планы, а не передоверял их другим исполнителям, — об этом Меншиков не то чтобы забывал, но опыт с Липранди в балаклавском деле давал ему основания думать несколько иначе.

Он был достаточно умен и опытен, чтобы понимать полную невозможность одному человеку управлять ходом большого сражения, в котором так много зависит от случайностей, а этих случайностей все равно ни один стратег не в состоянии взвесить заранее, предусмотреть и предупредить.

Он считал, что самое важное — скопить необходимые для удара силы, выбрать направление для удара и подходящий момент, а все остальное поневоле придется возложить на командиров и солдат, причем изменить их состав, заменить из них одного другим не было даже в его возможностях, хотя он и был главнокомандующим.

Когда он прочитал в письме к нему Горчакова, что посылается ему на помощь 4-й корпус с Данненбергом во главе, он сделал гримасу, долго не сходящую с его лица.

Данненберг — генерал от инфантерии — был известен ему только как начальник отряда, проигравший сражение с турками в эту же войну при Ольтенице, на Дунае. И он тогда же писал Горчакову, нельзя ли заменить Данненберга Лидерсом, но Горчаков ответил, что не имеет права перемещать командиров корпусов одного на место другого.

«Я не могу, — писал он, — освободить вас от Данненберга. Принимая выгоды от войск, вам посылаемых, примите и сопряженные с этим неудобства. К тому же он не сделал ничего предосудительного, за что можно бы было отнять у него корпус, но полезно иметь в виду, что его способности не таковы, чтобы можно было поручить ему отдельное командование».

Однако письмо это непростительно запоздало: Меншиков получил его как раз тогда, когда бой был уже закончен, — вечером 24-го.

Данненберг, таким образом, против желания Меншикова, непременно должен был командовать тем большим и решительным сражением, какое обдумывал он уединенно и скрытно.

Кроме него, еще два новых для Меншикова генерал-лейтенанта — Соймонов и Павлов — приходили вместе со своими дивизиями, десятой и одиннадцатой, а между тем ни о ком из них светлейший почти ничего не знал.

Однако откладывать сражение было нельзя, по его мнению, ни на один день: ожидался приезд великих князей, и Меншиков во что бы то ни стало стремился дать союзникам генеральный бой до их приезда. Вместе с великими князьями должны были явиться и великие заботы о них, которые неминуемо должны были отнять и все его время и время многих, нужных для дела людей.

А главное, Меншиков боялся, что по молодости и пылкости своей великие князья будут подвергать себя всем опасностям боя и что удержать их в приличном расстоянии от ядер и пуль будет нельзя.

Как старый царедворец, он без писем императрицы понимал, что для него будет гораздо лучше потерять сражение и половину армии, но сохранить невредимыми царевичей, чем даже при полной победе потерять хоть одного из них.

Так как было известно, что они приедут в Севастополь вечером 23 октября, то сражение было назначено им на утро этого дня.

Полки, подходя к Чоргуну, располагались бивуаками около в походных палатках или совсем под открытым небом.

Придя, солдаты отдыхали, не тревожимые службой. Кашевары варили борщи и каши, балалаечники тренькали на балалайках, песенники пели, плясуны плясали... А Меншиков, избегая смотров, но желая все-таки видеть своими глазами тех, кто через несколько дней будет, по его приказу, отстаивать штыками и Севастополь и правильность его стратегических замыслов и расчетов, прохаживался иногда в одиночку между этих живописных и шумных групп.

В лицо не знал его почти никто из новых офицеров, не только солдат, и этим пользовался светлейший.

Так как ходил он в морской фуражке или в папахе и в накидке серого солдатского сукна, скрывающей его погоны, то его никто и не встречал ретиво раскатистыми криками «смир-но-о!» Это ему нравилось. Так он чувствовал себя гораздо свободнее, а солдаты, казалось, ничуть не утомленные шестисотверстным маршем, внушали ему надежды на успех.

Иногда он проезжал между солдатами на своем теперь неизменном лошаке и в таком виде казался им очень смешным.

Работы, которые производились союзными отрядами для укрепления своих позиций, ему хотелось наблюдать с возможно ближайших расстояний, поэтому он часто пробирался к передовым постам около редутов.

Эти посты были расставлены дальше чем на штуцерный выстрел от подобных же постов противника.

Однажды он был обеспокоен толпою турок в куртках верблюжьего сукна и в башлыках, которые заняли пост гораздо ближе к русской линии и сидели на земле на корточках без всяких предосторожностей, совершенно открыто.

Это его обеспокоило чрезвычайно. Он послал адъютанта, с которым выехал, подползти к ним поближе и хорошенько рассмотреть их в трубу.

Адъютант пополз; «турки», завидя его, распластали огромные крылья и поднялись. Это были грифы, сидевшие на конской падали. В них не стреляли с постов отчасти потому, чтобы не беспокоить зря

выстрелами своих, отчасти признавая за грифами очевидное право на их добычу, которая никому не нужна, кроме них, и только отравляет воздух.

Несколько позже грифов появилось здесь много воронов. Странно было видеть этих обычно одиноких птиц в больших стаях. Наконец, стаями же, больше по ночам, чем днем, начали набегать сюда из окрестностей бездомные собаки...

Спал главнокомандующий в облюбованном им домике в Чоргуне мало и плохо. Ел тоже мало. Был очень неразговорчив со своими адъютантами. Подготовка к новому сражению отнимала у него все время и занимала все его мысли.

### Глава третья. Канун битвы

I

— Совершенно секретно, господа, — говорил Меншиков трем новым для него генералам — Данненбергу, Соймонову и Павлову, понижая при этом голос и оглядываясь на дверь. — Прежде всего — совершенно секретно! Я вам подробно изложу план ваших будущих действий, но, повторяю, он должен быть известен только вам, чтобы, господа, он... не стал известен неприятелю.

Тут он перевел пытливые, прощупывающие насквозь глаза с сухощавого и более приличного немецкому ученому, чем русскому генералу, лица Данненберга на открытое мясистое добротное лицо тамбовского помещика Соймонова и остановился на лице Павлова, нервном, восточного склада, очень внимательном лице.

— Значит, ваша светлость, в Севастополе много шпионов неприятельских? — спросил Павлов.

— Есть, — коротко ответил Меншиков. — Поэтому я сделал все, чтобы главнокомандующие союзных армий были... гм, гм... введены в заблуждение насчет пункта нашей атаки, — вот!.. Сейчас им известно что именно? Что мы будем наступать на Балаклаву. Поэтому они должны были собрать и собрали, конечно, у Балаклавы достаточно сил и средств для отражения наших сил и средств... Этим я и хочу

воспользоваться, господа, чтобы напасть на них там, где они не ожидают, а именно...

Он сделал длинную паузу и закончил:

— Со стороны Инкерманского моста!

Собраны были Меншиковым генералы 4-го корпуса в домике инженерного ведомства на Северной стороне — маленьком домике в четыре тесных комнатки. Сидели они в самой большой из них. Окна домика были закрыты. За окнами, на расстоянии десятка шагов, ходил часовой. Никого из адъютантов князя не было в домике в это время — вечером 22 октября.

Стол, за которым сидели генералы, был пуст; на нем лежала только свернутая карта — та французская карта Крыма и Севастополя с его окрестностями, которую казаки нашли на убитом французском офицере или капрале.

В этот домик Меншиков перебрался из Чоргуна всего лишь накануне в ночь.

— Со стороны Инкерманского моста? — повторил Данненберг.

— Да! Только такой план я считаю возможным, — вытянул в его сторону сухую шею Меншиков. — Вам, как служившему раньше в севастопольском гарнизоне, местность должна быть знакома, не так ли?

— Инкерманский мост?.. Я припоминаю, где этот самый Инкерманский мост, — отдельно и кивая при этом головою, проговорил Данненберг.

— Зато я, ваша светлость, совершенно не имею понятия, где этот мост!

— сказал Соймонов и поглядел вопросительно на Павлова.

— Я тоже совсем незнаком с местностью, — пожал плечами Павлов.

— Имею честь доложить, ваша светлость, что при проезде через Симферополь я сделал все, что мог, чтобы найти карту Крыма, приложенную к сочинению Коппена о Крыме, — с возмущением в голосе продолжал Соймонов. — Мой адъютант целый день ездил по этому делу, но карты этой так и не нашел. Нашел только книгу Коппена, но без карты! А карта попала к кому-то другому.

— Я тоже искал карту Крыма, — оживленно поддержал Соймонова Павлов. — Мне говорили, что есть подробная карта лесного ведомства. Однако я ее так и не получил!

— Да, карты, конечно, нужны нам... И я обращался в главный штаб... Думаю, что со временем мы их все-таки получим. А пока будем пользоваться вот этой, — осторожно развернул и разложил на столе французскую карту Меншиков. — Наконец, при каждом отряде будет проводник, колонновожатый из местных жителей: об этом я позаботился заранее. Вы со своей стороны только скажете проводнику, какой именно дорогой вас вести, и он поведет. Так вот, господа, здесь — Инкерманский мост, — постучал он по карте длинным ногтем указательного пальца, и все три генерала, поднявшись с мест, наклонились над картой, ища глазами ту точку, которая с этой минуты приобретала огромное значение в их жизни.

— Извольте видеть, — продолжал между тем Меншиков, — от Инкерманского моста идет в гору дорога по узкому дефиле: это — старая почтовая дорога. Здесь англичане имеют редуты, но, по моим сведениям, очень слабые... По сравнению с ними тот редут на холме Канробера, который Азовским полком был взят, — целая крепость!.. Очень слабые, да — три, кажется, редута. Их должна будет взять наша левая колонна... под вашим командованием! — посмотрел он начальственно на генерала Павлова.

Павлов вытянулся и наклонил слегка голову.

— Силами одной только одиннадцатой дивизии я должен буду занять эти редуты, ваша светлость? — спросил он.

— Три полка будут ваши: Селенгинский, Якутский и Охотский, но этого мало, этого, я думаю, вам будет мало... Поэтому я хочу добавить вам бригаду семнадцатой дивизии из севастопольского гарнизона — Бородинский и Тарутинский полки... В бою они уже были — местность им известна... Артиллерии у вас будет, по моему расчету, около ста орудий. Это я считаю, разумеется, всего, с резервом. Кроме того, две роты стрелков... Точный перечень всех сил своего отряда вы получите: он у меня готов.

Павлов вторично наклонил голову, ожидая подробностей своего движения до Инкерманского моста и от него дальше. Но Меншиков обратился уже к

Соймонову:

— Что же касается вас, то вы поведете свою колонну от бастиона номер второй по берегу вот — Килен-балки, — снова постучал он ногтем по карте.

— Килен-балки, — повторил Соймонов это странное для его тамбовского уха сочетание слов не на Дунае, а в Севастополе. — Позвольте, ваша светлость, рассмотреть мне эту Ки-лен-балку!

Он нагнулся над картой и вдруг сказал:

— Балка — ведь это овраг, а тут изображена какая-то возвышенность, где вы показываете, ваша светлость.

— Конечно, возвышенность по обеим сторонам балки, а как же иначе?

— удивился Меншиков. — Ситуация тут дана вполне правильно.

— Гм, да, ситуация, — пробормотал сконфуженно Соймонов. — Значит, мне свою колонну придется вести прямо по этому взгорью — без дороги?

— У вас, кроме трех полков вашей дивизии, а именно: Екатеринбургского, Томского и Колыванского, — будут еще четыре полка, знакомые с местностью, — поморщившись, ответил Меншиков.

— Полки эти следующие: Бутырский пехотный семнадцатой дивизии и три полка шестнадцатой: Владимирский и Суздальский пехотные и Углицкий егерский... Из них можете набрать проводников для своих полков, если найдете, что это вам нужно... Ведь вы пойдете отсюда, с Корабельной стороны и на Килен-балку... У вас тоже будут две роты стрелков, орудий же, по моему счету, тридцать восемь... Ваша колонна будет всего, примерно, восемнадцать тысяч человек с большим лишком...

Так как Меншиков остановился, как сказавший уже все, что считал нужным сказать, то Соймонов спросил недоуменно:

— Куда же я должен буду вывести свою колонну, ваша светлость?

— Как куда? — удивился Меншиков. — Разумеется, на правый фланг английских позиций! Ваша правая колонна должна появиться на правом фланге англичан как раз, вот извольте видеть, на верховьях Килен-балки, одновременно, — прежде всего прошу иметь в виду! — одновременно, — с левой колонной генерала Павлова, которая пойдет, как я уже сказал, от Инкерманского моста и выйдет несколько левее вашей колонны... Чтобы разгромить англичан, сил у вас будет

достаточно: восемнадцать, скажем, с половиной тысяч штыков в одной колонне и пятнадцать тоже с половиной тысяч в другой — итого тридцать четыре тысячи.

— Против? — поспешно спросил молчавший до того Данненберг. — Против какого же именно состава и количества английских войск?

— Состав и количество, — поморщился Меншиков, — значительно более слабые, судя по тем сведениям, какие у меня имеются.

— Но ведь это осаждающий корпус? — снова поспешно спросил Данненберг. — Значит, при нем и все осадные орудия?

— Вот именно! Вот именно, — подтвердил Меншиков. — И целью вылазки нашей я ставлю именно деблокирование! Мы должны добиться во что бы то ни стало, чтобы правый фланг осаждающей союзной армии был разгромлен и вынужден был снять осаду, — останется ли часть его осадных орудий в его руках, или все они перейдут к нам, чего должны добиться обе ваши колонны, что я ставлю вам, которому поручаю командование обеими колоннами, в неотложную цель!

Данненберг несколько мгновений смотрел неподвижно в горевшие одушевлением старые глаза Меншикова и спросил вдруг:

— А французская армия?.. Разве она не сообщается с английской? Ведь она должна же будет прийти ей на помощь, ваша светлость?

— Для того чтобы она не пришла на помощь английской, она будет в свою очередь атакована со стороны вот — шестого бастиона, — стукнул ногтем по карте Меншиков, — для чего назначается отряд под командой генерала Тимофеева... это — из состава гарнизона крепости... Наконец, чтобы связать по рукам наблюдательный корпус генерала Боске, — вот здесь, на Сапун-горе, — в Балаклавской долине стоят двенадцатая дивизия Липранди и целая дивизия драгун Врангеля — тридцать эскадронов, — под общей командой князя Горчакова, Петра Дмитриевича... Отряд этот достаточной силы и для того, чтобы резервы из балаклавского лагеря союзников пришить к их месту... Итак, господа, я сказал вам, кажется, все в главных, разумеется, чертах. От вас же я буду ждать сегодня до полуночи подробной диспозиции.

Генералы переглянулись.

— Когда же мы успеем написать эту диспозицию, ваша светлость? — вслух удивился за всех Соймонов. — Впору только посмотреть те чужие полки и артиллерию, какие вы нам даете в дополнение к нашим!

— Это вы успеете, господа! — поморщился Меншиков. — Это вы должны успеть сделать, так как выступление с бивуаков назначено на три часа ночи.

— Какой ночи? Этой ночи? — почти испугался Данненберг.

— Да, этой ночи! Больше мы ждать не можем. У нас все готово к наступлению, и мы должны выполнить волю его величества.

— Последние эшелоны только сегодня пришли в Севастополь, ваша светлость! Они не успели еще отдохнуть! — очень решительным тоном сказал Данненберг. — Вести усталых людей сразу в наступление — это значит провалить наступление!

— Пустяки, — «усталых»! Какая там усталость для русского солдата!

— выпрямил корпус над столом Меншиков, что означало у него недовольство словами Данненберга. — Начало движения колонн по моей диспозиции, которую вы сейчас же получите, отнесено к шести часам утра.

— Нет, ваша светлость, мы не успеем сегодня сделать все нужные приготовления, — сказал Павлов. — Подарите нам для этого хотя бы еще один день.

— Нет, не могу!.. Еще один день? Нет!.. Завтра в это время приезжают великие князья, а мы с вами, господа, не имеем полномочий от его величества подвергать их такой же опасности боя, какой будем подвергаться сами!

— Великих князей можно будет, я думаю, отговорить от присутствия на позорище{31} боевых действий, — сказал Данненберг.

— Вы забываете, что они — молодые люди!.. Это раз, а кроме того, господа, я вас уже посвятил в мой план, а это делаю я только накануне сражения, — подчеркнул Меншиков.

— Если наступление так поспешно, ваша светлость, и так мало подготовлено, то я опасаюсь за его успех! — решительно сказал Данненберг. — У меня в корпусе введены свои крестовые порядки...

— Почему вам кажется, что оно мало подготовлено? — как будто даже обиженным тоном спросил Меншиков.

— Оно готовилось вами, но мы даже не в состоянии втолковать себе, что нам надо делать и куда идти! А между тем скоро надвинется ночь... Идет дождь. Земля к утру размокнет. Почва вязкая, будет налипать на сапоги, на колеса орудий... Войска же будут совершать движение по совершенно незнакомой дороге, а они еще не отдохнули как следует... им надо дать по крайней мере хотя бы один день оглядеться, ваша светлость! Кстати, завтра погода, может быть, исправится...

— И за этот один день неприятель чтобы узнал, куда и какими именно частями назначена атака? — презрительно поглядел на Данненберга Меншиков.

— От кого же он узнает об этом? Ведь не от кого-нибудь из нас троих? — с достоинством спросил Данненберг. — Я надеюсь, вы этого не думаете?

— Я имею в виду, конечно, не вас троих, — попробовал улыбнуться Меншиков.

— Однако пока вы сообщили основную мысль вашей диспозиции только нам троим, ваша светлость! — поддержал Данненберга Соймонов. — От нас это не перейдет ни к кому, но один только день еще мы усиленно просим вас подарить нам...

— Чтобы оглядеться, — дополнил Павлов.

Меншиков с полминуты стучал задумчиво ногтем по французской карте и, наконец, сказал:

— Может статься, что великие князья запоздают и не приедут завтра... Наступление было отложено на сутки.

## II

Меншиков после совещания этого был недоволен уже не только Данненбергом, но и другими двумя главными начальниками будущей большой вылазки, задуманной им так, казалось бы, удобовыполнимо и со всеми шансами на успех.

Простившись с генералами и назначив им собраться к нему на другой день в тот же вечерний час, он раздраженно говорил одному из своих

адъютантов, полковнику Панаеву:

— Ну, братец, это — какие-то бараны! Они совершенно ничего не понимают или не хотят взять в толк!.. О каких это таких «крестовых порядках» в своем корпусе начал было говорить этот Данненберг, но я не мог его дослушать? Ты не знаешь, что это такое — «крестовые порядки»?

Панаев только вздернул непонимающе плечами.

— Гм... Крестовые порядки! Что это может быть за штука?.. А Соймонов и Павлов делают вид, что не знают, что такое ситуация на карте, и горы готовы принимать за долины! Ничего решительно не мог им втолковать и должен был отложить наступление на двадцать четвертое... О дожде тоже говорят! Будто такой дождик может им помешать! А вдруг завтра не дождик, а целый ливень соберется?.. И как же, скажи, вести сражение, когда вот-вот могут приехать великие князя?.. Ведь я за них головой своей отвечу в случае несчастья с ними!

— Не успеют приехать, ваша светлость, — пробовал успокоить его Панаев.

— Однако телеграфическая депеша из Николаева получена ведь, что выехали оттуда на Херсон! А до Херсона далеко ли? Завтра на ночь придется мне с сыном перебраться к тебе в сторожку, а домик этот великим князьям нужно передать.

— Конечно, так и надо будет сделать, — согласился Панаев.

— Другого ничего не остается... Но в таком случае тебе-то куда же перебраться? — обеспокоился светлейший.

— Ничего, что ж, натяну палатку рядом, — ответил Панаев, привыкший уже к тому, что быть адъютантом Меншикова во время военных действий значило прежде всего расстаться с малейшими удобствами в жизни.

Эта черта в светлейшем — его равнодушие к комфорту, на который он имел все права и по своему служебному положению и по преклонным летам, поражала Панаева и до высадки десанта союзников.

Екатерининский дворец, который занимал князь со всеми своими адъютантами, был в сущности очень тесный и старый деревянный дом, по сравнению с которым почти любой дом на Большой Морской или

Екатерининской можно было бы счесть образцом заботы о человеке. Но Меншиков, как поселился в этой исторической полуруине с приезда из Николаева в Севастополь, так и остался.

Сторожка угольщика, около груды каменного угля для паровых судов, сложенного на берегу, недалеко от пристани, была убогий маленький сарайчик без пола и потолка и с протекающей крышей, но поблизости не было ничего лучшего. Панаев же приспособил сторожку под жилье, как мог и умел, и в ней, кроме лавки для спанья, был даже один складной стул и стол, сбитый из неоструганных досок.

Ночь под 23 октября Меншиков после беседы с генералами провел плохо. Его томила мысль, не заменить ли Соймонова или Павлова генералом Липранди, так как он уже хорошо «огляделся»; но прежнее глубоко личное нерасположение к начальнику 12-й дивизии отнюдь не рассеялось в нем даже и после удачи под Балаклавой, тем более что удача эта была твердо и уверенно приписана им Семякину. Назначить же Семякина начальником одной из атакующих колонн было нельзя, так как он был только генерал-майор...

В то же время приезд великих князей он уже теперь представлял как некое стихийное бедствие, как катастрофу, которая надвигалась на него от Николаева.

До беседы с Данненбергом и его помощниками он был уверен если не в полной победе, то хотя бы в таком успехе, какой выпал на долю отряда Липранди. После же беседы с ними он понял, что одной его власти главнокомандующего мало для того, чтобы заставить отряды двинуться в атаку на заведомо укрепленные позиции, даже не обстрелянные предварительно артиллерийским огнем, как это было в Балаклавской долине.

Его размах упал бессильно в самом начале: даже генералы и те не согласились подчиниться ему беспрекословно! Но если таковы генералы, то каковы же офицеры? Каковы солдаты?

Он двадцать раз говорил про себя, что от армии Горчакова нельзя было и ожидать ничего другого, что дисциплина в этой армии, конечно, и не ночевала, потому что осрамилась она в Дунайскую кампанию, когда Омер-паша появлялся там, где хотел, и всегда в превосходных силах, когда вся инициатива была в его руках.

Теперь он сам хотел появиться с превосходными силами там, где его никак не могли ожидать союзники, и на этой неожиданности удара строил весь свой план, но не оказалось налицо исполнителей.

Ненависть к Данненбергу росла в нем скачками всю ночь: при усилившемся дожде он вспоминал озлобленно, что тот говорил: «Погода может поправиться»; нашаривая в темноте на табурете около койки стакан с водой и натываясь рукой на снятый с шеи большой георгиевский крест 3-й степени, он вспоминал «крестовые порядки» в его корпусе; даже то, что, уходя, Данненберг не попросил для просмотра составленной им диспозиции, как будто заранее решив, что она неисполнима и для него неприемлема, он ставил в вину ему, а не себе, хотя и сам не вспомнил об этой диспозиции, когда уходили генералы...

Он припомнил, как после весьма неудачной рекогносцировки, произведенной двумя гусарскими полками, он просил адъютанта харьковского губернатора Гринева не доводить этого неприятного эпизода до сведения его начальства, не выносить сора из избы.

Сор будущего большого сражения мог бы так же точно остаться в избе, чем бы оно ни кончилось, если бы не этот, совершенно некстати, приезд великих князей. От них нельзя уже было и думать ничего скрыть. Притом, никогда не бывши на войне, они, конечно, представляют ее себе неверно, совершенно превратно, и то, что увидят воочию, не может не поразить их неприятно. А их уже нельзя просить не доводить о виденном до сведения их отца.

Сын его, спавший в соседней комнатке, за дощатой перегородкой, простуженно кашлял, просыпаясь, и светлейший перебирал в памяти свои медицинские знания, — не чахотка ли у него? Здоровье сына вообще было плохо и доставляло ему много хлопот. Он ни за что не решился бы никуда отпустить его от себя в день сражения, но присутствие на этом сражении великих князей могло погубить его сына: всякому захочется показать себя неустрашимым в такой кампании, а от риска один шаг до смерти.

Пользуясь бессонницей, чтобы еще и еще раз продумать свой план сражения, Меншиков все-таки ничего уже не мог ни изменить в нем, ни внести в него нового. Он принадлежал к разряду людей

самоуверенных и упрямых, а такие люди способны, не сворачивая, идти напролом к заранее намеченной цели, но не в состоянии ни менять цели, ни заменять одного средства другим.

### III

Великие князья приехали к вечеру на другой день. Так как депеши оттуда, где они были, и оттуда, куда ожидалось, все время исправно шли в инженерный домик на Северной стороне, то сын Меншикова и несколько адъютантов его при сотне казаков были посланы светлейшим им навстречу, на Каче встретили их с большою свитой и сопровождали до главной квартиры, которая, конечно, должна была немало удивить их своей простотою после главной квартиры Горчакова в Кишиневе, где садилось за стол обеденный не менее ста человек одних только чинов штаба, хотя штабу этому вообще нечего было делать, кроме как только отчислять те или иные дивизии, батареи, сухарные запасы, порох, снаряды, патроны в Крым, что Горчаков делал чем дальше, тем охотнее. При этом он часто писал Меншикову длиннейшие письма, в которых не то чтобы давал ему советы, как надо вести войну с коварными и сильными врагами, — нет, в каждом письме он стремился доказать светлейшему, что ставит его гораздо выше себя по уму и талантам, но со стороны-де иногда бывает виднее, за что надо взяться, и вот именно так, со стороны, ему кажется то-то и то-то.

Это подтвердили почти с первых же слов и великие князья, когда покинули, наконец, свои дорожные экипажи и расположились в домике, из которого Меншиков заблаговременно выбрался в сторожку. Они наперебой спешили рассказать Меншикову, что никто так живо не интересуется обороной Севастополя, никто так не знал ее во всех подробностях, никто не делает столько разнообразнейших планов сбить союзников с их высот и принудить их к обратной посадке на суда, как Горчаков.

— Но, между нами будь сказано, Горчаков этот так плохо видит, что всего только в трех шагах от нас меня он принимал за брата, а брата за меня! — весело смеялся Михаил.

— Впрочем, он и слышит не лучше, — добавлял Николай. — Но хоть у

меня и хороший слух, все-таки я далеко не всегда мог разобрать, что он такое говорит. Он это проделывает с такой быстротой, что едва ли и сам что-нибудь понимает.

— Когда же он вполне уверен, что он один, он поет, уверяю вас! Поет! — хохотал Михаил. — И что же именно поет? Я раза два слышал, как он пел: «Je Francaise soldat!» Уверяю вас! Русский главнокомандующий и поет: «Я французский солдат!».

Николай был одного роста с Меншиковым, Михаил несколько ниже брата, лицом красивее, фигурой ловчее, а главное, непосредственнее, живее и веселее. Николай как бы сознательно не разрешал себе быть таким же живым, как младший брат, но он имел вид гораздо более наблюдательного и серьезного: он как будто заранее, по уговору с Михаилом, взял на себя нелегкую обязанность быть представителем здесь своего отца.

Однако временами прорывался и он и хохотал вместе с братом. Меншикову ясно было, что их нервирует необычность обстановки, что они чувствуют себя теперь тут, где изредка хотя, но гремят настоящие боевые пушки, весьма приподнято и не могут найти сразу простого, без аффектации, тона.

Кроме того, длинная и, конечно, достаточно скучная дорога их кончилась, наконец, и Севастополь, — вот они видят его, — стоит как будто бы даже совершенно нетронутый той ужасной бомбардировкой с суши и с моря, о которой они так много слышали и читали в иностранных и русских газетах.

Им даже как будто нравился и этот инженерный домик, как выехавшим из роскошной городской квартиры на пикник за город нравится любое дикое место, и чем оно диче, тем больше нравится.

Гораздо меньше довольны были этим обиталищем их камер-лакеи, которые, освобождая тарантасы от объемистых дорожных погребков и ковчежцев, весьма затруднялись решить, куда их поставить в скромном инженерном домике и как должны разместиться тут они сами.

Но, кроме камер-лакеев, была еще довольно многочисленная свита, которая, оглядевшись кругом, все больше приходила в недоумение, почему так ничтожны строительные способности светлейшего

главнокомандующего: им казалось, что прежде всего, готовясь к приему великих князей, Меншиков должен был бы настроить здесь, около своей штаб-квартиры, по крайней мере десятка полтора удобных домиков хотя бы и такой величины, как этот инженерный.

Как будто считая признаком дурного тона с приезда начинать расспрашивать Меншикова о том, как дела по защите Севастополя, братья спешили рассказать ему сами о том, что они видели в Кишиневе, в Одессе, — где даже удалось им, правда всего только на час, зайти в театр, — в Николаеве, в Херсоне... Михаил недурно представил, как играла в одесском театре пожилая очень толстая актриса, и Меншиков смеялся, на момент забывая о том, что на завтрашнее утро окончательно и совершенно неотложно назначено им сражение.

Данненберг, Соймонов и Павлов приезжали в седьмом часу на совещание, но совещаться уже было нельзя: приближались экипажи великих князей. Наскоро подтвердив то, что говорилось накануне, узнав, что генералы, насколько можно было, ознакомились с местностью, по которой должны были начать наступление, раздав им свою диспозицию и потребовав, чтобы они ночью прислали ему свои, которые должны предусмотреть все подробности дела, Меншиков сам просил их уехать: он боялся, чтобы великие князья не застали их и не узнали от них, что назавтра бой.

Он вообще не хотел ничего говорить об этом своим высоким гостям. Житейски представлял он, что они с дороги будут очень крепко, помолодому, спать в то время, когда разовьется сражение; что он уедет к Инкерманскому мосту, а без него, если даже они и проснутся, никто не будет уполномочен сопровождать их на поле сражения. Наконец, если бы даже им и очень хотелось помчаться туда, он надеялся, что адъютантам его, тем, которых он хочет оставить для этой цели, удастся их отговорить от ненужного риска здоровьем и жизнью.

Однако вышло не так, как он думал: сказать гостям о том, что на завтра готовится крупное дело, пришлось почти с первых же слов, так как вопрос об этом был сделан ими неотступно прямо и от имени их родителей. Из коляски их еще не были выпряжены лошади, и они захотели немедленно видеть войска, которые должны были идти в

бой.

Ближайшим к ставке главнокомандующего был отряд Павлова; притом к нему только можно было доехать в коляске. И великие князья в сумерках, но еще засветло, появились на Инкермане, поздравляли полки и батареи с боем, передавали поклон царя...

Солдаты кричали «ура!», «рады стараться!» и бросали вверх свои мокрые фуражки.

Был сервирован чай. На скромных столиках, сдвинутых вместе и покрытых белоснежными скатертями, появились давно уже исчезнувшие из обихода меншиковской жизни закуски и вина.

Но что было еще неожиданней, — вместе с ними появилось то молодое веселье, которое совершенно исчезло после несчастного боя на Алме. Даже Меншиков, как будто нечаянно потерянное нашел, вспомнил, что он — записной остряк, и несколько острот его, сказанных очень кстати, вызвали взрывы буйной веселости и великих князей и их свиты.

Так досидели до полуночи, когда обеспокоил главнокомандующего сильный дождь, и он простился с гостями, пожелал им от чистого сердца крепчайшего сна и ушел в свою сторожку.

Он думал найти там диспозиции Соймонова и Павлова, но их не оказалось.

— Что это? Разгильдяйство? Небрежность? Опять-таки горчаковское отсутствие дисциплины или это умышленное неисполнение моего приказа? — горестно спрашивал он у сына, ложась на свой конец лавки.

— Завтра узнаем, — неопределенно ответил сын.

Он много выпил вина, поэтому после обычного приступа кашля заснул крепко; сам же Меншиков заснуть не мог: сквозь худую крышу капало звучно на шинель, которой он укрылся, и ему представлялись раскисшие тяжелые дороги, пудовые комья грязи, налипшие на солдатские сапоги, и убийственно меткая штуцерная пальба, которой непременно встретят англичане полки Павлова со стороны старой почтовой дороги и полки Соймонова со стороны Килен-балки.

Раза три он выходил из сторожки и подолгу стоял, стараясь что-нибудь определенно разглядеть там, где тянулись позиции союзников.

В четыре часа по Севастополю прошел глухой в дожде и тумане гул колокольного звона. Меншиков вспомнил, что было воскресенье и звон этот созывал людей к заутрене, а после нее к «молебствию о даровании победы русскому оружию» в предстоящем сражении.

Снова и снова он перебирал в бодрствующем старом мозгу все свои распоряжения на этот день, сделанные накануне: всем сухопутным батареям открыть огонь в шесть утра; пароходам «Херсонес» и «Владимир» поддержать огонь батарей; одновременно отряду Горчакова начать усиленный обстрел Сапун-горы, чтобы ввести в заблуждение корпус Боске относительно места главной атаки; несколько позже выступить от шестого бастиона отряду Тимофеева... и много-много еще приказов именем главнокомандующего морскими и сухопутными силами Крыма, каким он считался уже вполне официально с 8 октября.

Последний приказ был: прислать по одному младшему офицеру от каждого из полков гарнизона в качестве конного ординарца к великим князьям.

Перебирая в уме все свои приказы, которыми подготавливал он Инкерманское сражение, Меншиков припомнил, что материалы для починки взорванного англичанами моста через Черную, называемого Инкерманским, он не хотел требовать от командира порта Станюковича, чтобы не предавать этого дела огласке. Он придумал обратиться за этим к Нахимову, чтобы тот как-нибудь своими средствами достал из порта необходимые материалы и, кстати, рабочих. Однако Станюкович наотрез отказал выдать Нахимову что-либо из имущества порта без письменного приказанья главнокомандующего. И Нахимову пришлось просто обойти Станюковича и достать материалы и рабочих благодаря одному из чиновников порта.

Вот к чему приходилось прибегать для того только, чтобы сохранить всю подготовку в великой тайне, а получилось в конце концов так, что еще за день до атаки о ней уже известно всем в Севастополе... Не известно ли также и союзникам?

Он, конечно, не мог не ответить великим князьям на их прямой вопрос, не затевается ли им то наступление, о котором все время

думали во дворце в Гатчине? Он должен был сказать, что наступление должно совершиться утром. Однако он всячески просил их спать спокойно после дальней дороги, и один из их свиты, генерал Философов, даже обещал ему всячески подействовать на них, чтобы проснулись они как можно позже.

Но вот окошко караулки стало слегка выделяться из сплошной черноты стены — серело на темном фоне не прямоугольником пока еще, а каким-то неправильной формы пятном: утро наступало.

Меншиков не мог уже больше лежать на своей лавке. Он набросил на себя шинель, так как лежал не раздеваясь, вышел из караулки и вдруг услышал заглушенную дальностью, туманом и досадным, моросившим сквозь туман дождем, но очень оживленную ружейную перестрелку: это значило, что стрелковые роты столкнулись уже с английскими аванпостами.

Вслед за этим загремела канонада: сквозь серое, прорываясь желтой полосой, вспыхивали огни выстрелов из орудий на третьем, четвертом, пятом бастионах.

Дело, о котором он столько думал, началось, и Меншиков испуганно разглядел, что отворились двери инженерного домика, и из них вышли совершенно одетые великие князья, явно готовые к великим воинским подвигам, четкие в прорези освещенных изнутри дверей.

И старый главнокомандующий при виде их остро и вконец почувствовал, что сражение будет проиграно.

Однако ему ничего больше не оставалось делать, как, вернувшись в сторожку, будить сына и одеваться, чтобы сестра уже не на испытанного в горных дорогах лошака, а на своего прежнего донца с белой звездой во лбу.

Ординарцы к великим князьям прибыли во исполнение его приказа. Вся свита великих князей, разбирая верховых лошадей, усаживалась в седла; адъютанты главнокомандующего как старые Севастопольцы разъясняли, куда и как надо ехать... Так что, когда вышел сам главнокомандующий с сыном из караулки, великие князья уже двинулись, имея впереди казаков как провожатых и прикрытие.

Всадников, отправившихся к месту боя из штаб-квартиры, было так много, что издали да еще в тумане, как в это утро, их можно было

принять за целый эскадрон, идущий вольным порядком.

#### IV

Совершенно неизвестный Меншикову Соймонов считался одним из лучших генералов Дунайской армии.

Утро 23 октября он провел в том, что на простой ординарческой лошадке и в солдатской шинели, скромно, чтобы не быть отмеченным с неприятельских постов, сам-друг со своим старшим адъютантом, в сопровождении только одного казачьего урядника, знающего местность, проехал по берегу Килен-балки, насколько можно было вверх, затем спустился на Саперную дорогу, перерезавшую Килен-балку возле бухты, а с нее выбрался на старую почтовую, по которой должна была идти колонна Павлова, и пришел к бесспорному для себя выводу, что только эта почтовая дорога и была хоть сколько-нибудь возможна для передвижения вверх больших отрядов пехоты и полевых батарей.

Подступы к позициям англичан с той стороны, с которой хотелось атаковать их Меншикову, оказались невылазно круты, усеяны большими камнями, изрезаны балками и бездорожны. Притом тут атакующий отряд имел перед собой такие сильные укрепления, что бесполезно и наверняка потерял бы половину своих сил, пока бы до них добрался; но затем он неминуемо был бы сброшен вниз с крутизны контратакой противника.

Со стороны же почтовой дороги можно было различить всего только два редута, из которых один даже не был почему-то совсем вооружен и занят, а на другом стояло только два орудия.

Проездив так два-три часа под упорным, хотя и некрупным дождем, слезая несколько раз с лошади и пробуя, как глубоко вязнут ноги в размокшем глинистом грунте, Соймонов сказал, наконец, своему адъютанту:

— Что бы мне ни говорили потом и чем бы наша атака ни кончилась, но атаку эту мы можем вести только отсюда и ниоткуда больше!.. Мы должны для этого выступить раньше, чтобы опередить Павлова. А там уже что выпадет на долю: или держись, «Виктория», или поедем мы в дальний отпуск!

И он энергично махнул рукой в серое небо, плакавшее беспросветным дождем.

Однако по решительному, плотному, здоровому, совсем не задумчивому, но скорее задорному лицу своего начальника адъютант видел, что в царство небесное он отнюдь не собирается, что на земле стоит и надеется стоять прочно, что диспозицию отряду придется писать в выражениях не менее туманных, чем сорок раз прочитанная им и все-таки не понятая до конца диспозиция самого главнокомандующего, в которой было сказано об их отряде:

«Действующему отряду... под начальством генерал-лейтенанта Соймонова начать наступление от Килен-балки в шесть часов утра, предварительно сему сделав уже выдвижение из укреплений».

Килен-балка, как выяснилось теперь, тянулась не менее как на три версты. От какого же именно места ее нужно было начать наступление в шесть часов утра, «предварительно сему сделав выдвижение»?

Это дало очень широкое поле для толкований — другими словами, для свободы действий.

Когда Соймонов вернулся в свой штаб и написал свою диспозицию, он получил диспозицию от Данненберга. Ему предписывалось действовать, не переходя Килен-балки, то есть именно там, где действовать большому отряду, как это он только что выяснил, было совершенно невозможно.

Впрочем, вскоре адъютант Данненберга привез другую диспозицию, где кое-что изменялось по сравнению с первой «по следующим уважениям», как было написано в бумаге.

«Уважения» эти излагались довольно обстоятельно, но Соймонов рассерженно хлопнул по бумаге широкой ладонью и сказал своему адъютанту:

— Баста! Я пока совершенно самостоятельный начальник отряда и буду им, пока совершаться будет движение около всех этих балок! А генерал Данненберг станет моим начальником, только когда я соединюсь с Павловым. Соединяться же с Павловым я буду по своей диспозиции и больше не хочу никаких разговоров! Я отвечаю за свой отряд, а не Данненберг! И переколотить всех моих офицеров и солдат совершенно зря на подступах никому не позволю! Я должен послать

свою диспозицию главнокомандующему. Хорошо-с! Пошлем ее с дороги, — отнюдь не раньше, чтобы я не получил еще одной подобной бумажки!

Часов в десять вечера, когда диспозиция стала известна всем командирам отдельных частей отряда Соймонова, они собрались к нему. Тут были: и командир 10-й артиллерийской бригады полковник Загоскин, и командир Томского полка Пустовойтов, и командир Екатеринбургского полка Александров, и подполковник Темирязев, и адъютанты, и, наконец, герой сражения с турками при деревне Четати на Дунае, командир оставшегося в Севастополе Тобольского полка дивизии Соймонова, генерал-майор Баумгартен, получивший за это сражение не только генеральство, но еще и Георгия 3-й степени, хотя не имел еще 4-й.

Ужинали. И ужинали, пожалуй, не менее весело, чем в это же самое время в инженерном домике на Северной, и едва ли не веселее всех был сам хозяин ужина Соймонов.

Близкая и явная опасность по-разному действует на людей, это зависит больше всего от их темперамента. Иные, склонные к суеверию, во всем кругом готовы искать и находить приметы — кто счастливые, кто несчастные. Иные становятся безотчетно беспокойными, другие так же безотчетно чувствуют большой подъем.

Эти последние люди счастливые по натуре: хорошо сработанные, крепкого здоровья, склонные ко всевозможным видам соревнования с другими, будь это сфера физическая или умственная, все равно; люди, которым до явной близкой опасности вообще и всегда «везло» и которые верят поэтому и в свои силы и в свою «звезду».

Соймонов принадлежал именно к таким, которые не только верили в себя, но в которого верили и другие — и начальники и подчиненные.

И в этот вечер, канун боя с не изведанным пока еще врагом, Соймонов чувствовал всем телом, что для успеха необходимо поднять настроение всех своих частей, завтрашних главных действующих лиц, — казаться как можно самоувереннее самому, пожалуй даже просто забубенной головою, несмотря на свой большой чин и положение начальника большого отряда.

Он много шутил, он заразительно-раскатисто смеялся, он сам наливал

гостям вина в стаканы, он говорил о себе: «мы, танбовцы...», сильно напирая на н, он любовно хлопал по плечу сидевшего с ним рядом вихрастого Баумгартена, когда спрашивал его мнения о завтрашнем деле.

— Если англо-французы будут иметь против фронта такое удовольствие, как ваш отряд и отряд Павлова, — лучась и делая вещей вид, значительно ответил герой Четати, — а с тыла отряд Липранди, а справа наши бастионы и гарнизон, а сзади море, то ему только и останется прыгать в море!

— Ура-а! — закричал Соймонов, целуя своего удачливого командира полка, бывшего так недавно и так успешно с целой дивизией турок и теперь назначенного участвовать в вылазке генерала Тимофеева.

Отпуская около полуночи гостей, Соймонов обещал им завтра устроить приличный случаю завтрак на отбитой у англичан «Виктории», как называлась самая сильная батарея их на Сапун-горе.

V

Между тем как в инженерном домике на Северной, в доме Дворянского собрания, где рядом с перевязочным пунктом нашел себе прибежище Соймонов со своим штабом, и в других подобных укрытых местах высшее начальство было занято стратегией и тактикой предстоящего боя за освобождение Севастополя от осады, солдаты и офицеры, до батальонных командиров включительно, предоставлены были воле стихий. И если офицеры отряда Соймонова спаслись от дождя в обширном замке николаевской батареи — внутреннего форта, то солдатам некуда было деваться.

Они ютились под заборами, если дождь был косой, выстраивались вдоль стен домов под жалкой защитой спусков черепичных крыш, — всячески старались о том, чтобы не насквозь промокли шинели, чтобы не пришлось тащить лишнего пуда воды в случае наступления, о котором они уже знали.

Им не сказали только, когда именно будет наступление и в какую сторону придется идти, но они понимали, что такое военная тайна.

Так маялись они уже вторую ночь без сна, потому что Меншиков, думая завязать дело 23-го числа, снял их со стоянки под Чоргуном

вечером 22-го.

Бивуак отряда Павлова, расположенный на Инкермане, был похож на огромный цыганский табор.

Солдаты здесь связывали верхушки частых и густых дубовых и грабовых кустов, а под ними вырывали саперными лопатами ямки: так получались шалаши, которые покрывались ветками; ветки же и листья натаскивались в шалаши, а в ямках разводился огонь, чтобы обсушиться. Если подобные шалаши были сделаны поаккуратней да еще покрыты сверху брезентом или полотнищем палатки, то это уж были квартиры батальонных и ротных командиров, вместе с которыми помещались их адъютанты и младшие офицеры.

Штаб отряда Павлова, при котором был и Данненберг, устроился у развалин древней крепости генуэзцев.

Совершенно межеумочным сделал Меншиков своей диспозицией положение Данненберга.

Командир корпуса, он получал командование над двумя дивизиями его только тогда, когда соединятся они во время боя на Сапун-горе. Так сумел светлейший устранить этого неприятного ему генерала от участия в подготовке дела, не имея возможности отстранить его от дела совсем.

Павлов же как начальник отряда гораздо проще, чем Соймонов, познакомился с местностью сам и познакомил с нею тех, кто должен был на ней руководить действиями полков, батальонов, батарей.

Утром 23 октября он собрал всех своих командиров отдельных частей на Маячную гору, откуда сквозь сетку дождя смутно видна была та часть английских позиций, на которую нужно было вести наступление его отряду, и предложил им рассмотреть ее как можно внимательнее.

Смотрели и невооруженными глазами, смотрели в зрительные трубы, мало что различая из-за дождя, обращали внимание и на развороченный взрывами мост через Черную. Павлов объяснил, что о мосте думать поручено князем Нахимову, и это их не касается; мост должен быть сделан из бревен и досок там, в порту, и сюда пригнан по воде на буксире парового катера рабочими порта; сделано все это будет, разумеется, ночью, дабы не привлечь этим внимания противника.

Отряд Павлова был несколько слабее отряда Соймонова: в нем было около шестнадцати тысяч штыков, тогда как у Соймонова около девятнадцати тысяч. Зато артиллерия его была чуть не втрое могущественней: у Соймонова всего тридцать восемь орудий, у Павлова — девяносто шесть, — почему именно, трудно было понять.

Однако наиболее крупный численно отряд был не у этих двух генералов, а у того, кого Меншиков знал и к кому особенно благоволил, — у князя Горчакова в Балаклавской долине.

Кроме поступившего под его команду Липранди со всею 12-й дивизией, в которой насчитывалось пятнадцать тысяч, у него была в руках вся конница севастопольской армии: три полка драгун, два полка гусар, сводный полк улан и десять сотен казаков — всего семь тысяч и около девяноста орудий.

Горчакову доверялось выполнение самостоятельной операции, очень ответственной, но зато решающей: он должен был по одному из трех доступных с его стороны входов на Сапун-гору ввести достаточной силы пеший отряд, чтобы по его следам обрушиться на противника массой своей кавалерии и раздавить его сопротивление отрядам Соймонова и Павлова.

Если бы даже прорваться на плоскогорье Сапун-горы в утренний час не удалось, то Горчаков должен был приковать к своему отряду весь охранительный корпус Боске — двенадцать с половиной тысяч, чтобы сделать невозможным для него помощь атакованным с фронта англичанам.

Силы же французов из осадного корпуса должен был таким же образом отвлечь генерал Тимофеев своею вылазкой со стороны шестого бастиона.

Таким образом, Меншиков, распределяя общую задачу разгрома союзников между четырьмя отрядами, в которых считалось круглой цифрой шестьдесят тысяч человек, думал сбросить в море из укрепленного лагеря прекрасно вооруженную армию союзников, отнюдь не меньшую числом.

Бывало в истории, что даже и более трудные боевые задачи решались блистательно при разумной и неослабной энергии полководцев и стремительном напоре солдат, но в таких случаях неизменно

сражением руководила единая воля.

Но Меншиковым эта единая воля и победа передоверена была нескольким неспособным старым генералам, сам же он из главнокомандующего русской армией превратился в крепостного надежного дядьку, взяв на себя обязанность оберегать совершенно не вовремя явившихся царских сыновей.

#### Глава четвертая. Инкерманское побоище

##### I

В два часа ночи дали солдатам обед и к обеду по чарке водки. Старые, с проседью в усах, ели вдумчиво, степенно, молодые же кое-где переругивались с артельщиком.

— Дал тоже порцию мясную, скарעד, — кость одна!

— Дурак! Костей наешься, тебе же лучше на француза иттить: и штык пуза не пробьет и пуля в костях застрянет! — отзывался бойкий артельщик.

Еще не светало, когда, после колокольного звона, выступили с площади на Екатерининскую улицу и потянулись в ротных колоннах полки отряда Соймонова. Ночь была сырая, мозглая, холодная; ходьбой грелись.

Солдату, идущему в плотной колонне, положено только чувствовать локоть своего товарища, а не думать о своем будущем. Правда, с думами тяжелее, а на солдате и так вполне достаточно тяжелого груза. Перед тем как двинуться, покрестились «на восход солнца», и всякий почувствовал себя уже на самой границе жизни и смерти. Что дело, на какое шли, будет отнюдь не шуточным, это видели солдаты по многим признакам, кроме того, что войск собралось семь полков.

Перешли через Южную бухту по мосту-плашкоуту, потом миновали Пересыпь, наконец Соймонов, поговорив с проводником, решительно повел свой отряд через Килен-балку по новой Саперной дороге, чтобы вывести его потом на старую почтовую.

Несмотря на ненастье ночи и свежий воздух, от которого першило в горле, солдатам строжайше было приказано не кашлять.

Однако полевые орудия тяжелых батарей, — косноязычно называвшиеся тогда батарейными батареями, — то и дело застревали в колдобинах размытой дождями дороги. Артиллеристы дружно и молча помогали лошадям вытягивать в гору пушки, но долго выдержать молчанки не позволяла тяжелая работа; но орудия все-таки густо стучали большими крепкими колесами; но широкие, как солдатские манерки, копыта дюжих коней звучно чавкали в грязи... Солдатские сапоги тоже вязли на каждом шагу и выдирались из нее с шумом, а двигалось почти два десятка тысяч людей.

Подойти к неприятельским позициям такому отряду совсем бесшумно можно было только в детских мечтах. И вот уже на середине четырехверстного подъема в гору захлопали выстрелы впереди: это цепь русских стрелков-штуцерников столкнулась вплотную со стрелками английской сторожевой цепи.

Одновременно с этим появилась желтая, резко проблиставшая в туманной мгле цепь огней вдоль русских бастионов, и загремели залпы огромных орудий.

Когда проходили полки мимо Килен-бухты, разглядели солдаты совсем близко к берегу стоявшие два парохода. Это были «Херсонес» и «Владимир», поставленные тут, чтобы поддержать их атаку. Теперь и они опоясались огнями залпов и гремели.

Только что перед открывшейся стрельбой дойдя до довольно широкого ровного плато у верховьев Килен-балки, Соймонов остановил передовые колонны на десятиминутный отдых; кстати, нужно было и перестроиться к атаке. Но пальба обязывала идти быстрее вперед, чтобы уменьшить потери.

Быть может, опасавшийся и шпионов противника и своих переметчиков, очень скрытный и осторожный Меншиков был прав; быть может, о готовящемся наступлении оба главнокомандующие союзных армий были извещены заблаговременно.

Что они ждали нападения на Балаклаву, это бесспорно, в этом их хотел убедить и сам светлейший; но, несомненно, повышена была бдительность часовых по всему фронту.

По крайней мере английский генерал Кондрингтон взял себе за правило ежедневно в пять часов утра начинать объезд аванпостов

своей бригады легкой дивизии Броуна.

Он занят был этим и в утро 5 ноября (24 октября). На постах он выслушивал обычные рапорты, что все обстоит благополучно. Однако он почему-то не успокаивался этим. Он задерживался, вслушивался, всматривался в туман и мглу кругом...

Он говорил даже начальнику аванпостной линии, капитану Претиману:

— А что, если эти неутомимые русские именно теперь вот подходят к нашим позициям? Погода благоприятствует им: туман, дождь, штуцеры наши отсырели...

Его перебили тревожные выстрелы, раздавшиеся со склонов, обращенных к Севастополю.

— Вы слышите? — крикнул Кондрингтон, но Претиман отозвался:

— Может быть, пустая тревога, милорд.

Однако выстрелы застучали чаще и чаще, и вот уже бежали посланные оттуда, с передовых постов, с донесением, что русские наступают в больших силах.

Кондрингтон повернул коня и бросился в тыл, в лагерь, чтобы немедля поднять на ноги людей всей дивизии Броуна.

Затрубили тревогу горнисты; дивизия очень быстро покинула палатки, стала в ружье и беглым шагом пошла на помощь передовому отряду генерала Пеннефетера, который заменил Лесси Эванса, незадолго перед тем так несчастливо упавшего с лошади, что пришлось его отправить в госпиталь в Балаклаву.

На той довольно обширной площадке, на которой Соймонов остановил свой отряд, он все-таки успел его поставить в порядок наступления. Полки своей дивизии он разместил: Томский — на правом фланге, Колыванский — на левом, Екатеринбургский — в резерве, а за ними уже расположиться должна была здесь подтягивавшаяся сводная дивизия генерала Жабокритского: Владимирский, Суздальский, Углицкий и Бутырский полки. Этот глубокий резерв должен был дожидаться здесь приказа двигаться дальше. При нем оставалось двадцать шесть орудий, а батарею в двенадцать орудий Соймонов взял с собою, поместив ее в промежуток между Томским и Колыванским полками.

С атакой надо было спешить: до позиций англичан осталось еще две версты подъема, а между тем стрельба и канонада, открытая очень преждевременно, гремела вовсю.

Колыванцы и томцы поднимались по скользкой глине, хватаясь за встречные балочные камни и кусты. Кусты же чаще попадались колючие — шиповник, терновник, дикая груша — и ранили руки шипами. Между тем скорострельные штуцеры, хотя и отсыревшие, правда, но высохшие после первых выстрелов, уже посылали в наступающих тучи пуль.

Сорвалась надежда Соймонова напасть врасплох, но зато он видел, что ни одного солдата из колонны Павлова еще нет около, между тем уже ясно кругом. Это давало ему уверенность своей правоты: выходило, что он понял диспозицию Меншикова именно так, как надо, и что его атака отсюда могла бы быть сокрушительной, запоздай всего только на полчаса перестрелка, непростительно затеянная стрелками.

Когда передовые роты полков выбрались, наконец, из узкого ущелья к двум английским редутам, атаку Соймонова уже готовы были встретить бригады Пеннефетера, Адамса, Буллера, Кондрингтона — десять тысяч пехоты с двумя батареями полевых орудий, быстро занявших выгодные позиции, в то время как пушки Соймонова застряли на крутом подъеме, оставили без своей поддержки два передовых полка и задержали третий.

Жесточайшая штуцерная пальба встретила и озадачила томцев и колыванцев: турки на Дунае кинулись бы на них со штыками, а в штыковом бою русский солдат привык уже считать себя непобедимым.

В две-три минуты потери были уже так велики, что не успевали смыкаться, — валились люди целыми шеренгами.

Появившись на знакомом колыванцам коне своем перед их отшатнувшимся строем, Соймонов крикнул:

— Ура!

Колыванцы подхватили крик, кинулись вперед со штыками наперевес, но английская пехота, верная своим тактическим приемам, введенным еще во время войны с наполеоновскими полками в Испании маршалом Веллингтоном, отступила, продолжая стрелять.

Перед колыванцами была та самая бригада Броуна, которая упорно не

принимала штыкового удара владимирцев на Алме, предпочитая косить их пулями и быть в безопасности от их штыков.

Томцы в одно время с колыванцами бросились было на бригаду Адамса, но остановились под дождем бивших без промаха пуль и отхлынули. Орудия же англичан придвинулись ближе, и завизжала картечь.

Стало уже настолько светло, что англичане могли различать офицеров, бывших большей частью верхами, и то здесь, то там сваливался с коня всадник или падал под ним конь.

Соймонов метался, пока еще не тронутый ни одной пулей, и кричал:

— Артиллерия где?.. Где батарея?

Послать в тыл узнать, что сделалось с батареей, некого было: и старший и младший адъютанты его были уже тяжело ранены и вынесены в тыл. Но ему указали, как позади устраивалась батарея на так называемой Казачьей горе.

И вот, наконец, понеслись первые русские гранаты в английские ряды.

Не двенадцать полевых орудий, а двадцать два, — другие десять из дивизии Жабокритского, — густо покрыли Казачью гору. Они били не навесными выстрелами, как английские, а прицельным огнем.

Тяжелые снаряды начали рваться не только в колоннах английской пехоты, они летели и дальше, в лагерь, и действие этих снарядов уже было видно артиллеристам.

Палатки взмывали в воздух, как лебеди, и разрывались в клочья; мчались и падали убитые лошади, оторвавшиеся от коновязей; металась и гибла лагерная прислуга...

Английские генералы дальних участков лагеря, пока еще не вступившие в сражение, не знали, куда вести свои полки, не понимали, откуда эти русские гранаты, потому что канонада гремела с трех сторон: привычная уже, хотя и очень ожесточенная для такого раннего часа, — со стороны севастопольских бастионов, новая — с фронта; наконец, и от Балаклавской долины тоже слышались пушки: это Горчаков перестреливался с Боске.

Впрочем, Боске, чуть только рассвело настолько, чтобы разглядеть, что делается в Балаклавской долине, увидел, что перед ним стоит

генерал уже не тот, который был одиннадцать дней назад, а другой, отнюдь не желающий рисковать своим отрядом.

Не только полки его, пешие и конные, разбросанные в разных местах, расположились гораздо дальше, чем могли достать орудия с Сапун-горы, но и батареи его почему-то пугливо палят в воздух, снаряды их не долетают до французских позиций.

Живой и энергичный, он сразу увидел, что ему здесь нечего делать, что здесь только детски неумелая демонстрация, а настоящая атака там, на английском фронте.

Он снял со своих позиций двадцать четыре легких орудия, захватил три батальона стрелков и своего бригадного генерала Бурбаки и отправился на помощь англичанам.

Однако встреченные им генералы Броун и Каткарт оказались горды, как это было свойственно гражданам самого благоустроенного государства в мире. Они уверили его, что отразить русскую атаку считают своим частным делом, что с русскими они справятся сами.

Боске ничего не оставалось делать, как оставить отряд Бурбаки у ближайшего редута французов, присоединив его к алжирским стрелкам.

Броун и Каткарт из глубины тыла недооценили размеров русского удара; кроме того, они думали, что со стороны Килен-балки только демонстрация, главный же натиск направлен на Балаклаву.

Так же думал и Раглан. Он даже послал приказ своим судам развести пары и приготовиться принять войска, чтобы вывезти их в открытое море.

И только в семь часов, когда стало совсем светло и видно уж было, что Балаклаве опасность не угрожает, Раглан успокоился и поехал посмотреть, что такое затеяли русские на правом фланге его позиций.

Он подъехал близко к бою. В это время туман уже поднялся, но его место заступил такой густой дым, что стоил любого тумана.

Только с трудом, проверяя одно донесение другим, можно было установить, что примерно девять тысяч русских, по-видимому, совсем не имея резервов, ворвались в лагерь и бьются с четырьмя бригадами англичан.

Между тем действительно резерва Соймонова — четырех полков под

командой Жабокритского — не было видно со скалистых обрывов английских позиций. Он сошел с площадки, на которой был оставлен Соймоновым, и залег в лощине, где был безопасен от снарядов и пуль. Жабокритский помнил, что должен был ждать приказания от Соймонова, что ему делать дальше: только ли придвинуться ближе, идти ли на выручку своих; развивать ли их успехи, или прикрывать их отступление. Он видел, что густо шли раненные вниз, опираясь один на другого, но это была обычная деталь всякого боя, это не было отступлением полков. Однако никто не приезжал и с приказом от Соймонова идти ему на помощь или развивать его успех.

А дело было только в том, что некому было послать такой приказ.

В начале схватки Соймонов видел, что узкая площадка, на которую вышли его полки, не в состоянии была даже вместить этих двух полков в развернутых ротных колоннах.

На фланге она была всего только шагов в двести шириною; дальше, где были редуты, шире, но все-таки не больше, как в шестьсот шагов.

Дальше, по мере того как развертывался бой, Соймонов, стремившийся лично руководить полками, может быть, просто забыл на это время, что он — начальник не только одной своей 10-й дивизии, что в его руках еще и другая дивизия, стоящая в резерве. Наконец, несмотря на большую убыль людей в полках, солдаты его неудержимо рвались вперед, — вошли в азарт, как и он сам. Томцы опрокинули надежными штыками бригаду Пеннефетера, ворвались в редут, заклепали стоявшие там два орудия, изрубили лафеты.

Бригада Буллера — из дивизии Джорджа Броуна — была отброшена колыванцами далеко назад, а в это время как раз ворвались два батальона екатеринбургцев справа, со стороны верховья Килен-балки, и ударили на бригаду Кондрингтона.

Делом двух-трех минут было захватить четыре орудия и заклепать их. Однако на помощь Кондрингтону подоспели резервы, и оба батальона были сбиты снова в балку.

Резервы подошли и к другим бригадам.

Уже тринадцать тысяч англичан скопилось против значительно поредевших томцев и колыванцев. Сосредоточенный штуцерный огонь был так силен, что полки попятились. В иных батальонах вместо

тысячи человек едва оставалось двести — триста.

Упал, наконец, с коня и сам Соймонов: пуля попала в живот.

Его вынесли на шинели вниз, и тут только он, будучи еще в полном сознании, увидел сам, что от места боя до перевязочного пункта в Ушаковой балке было добрых три, если не четыре версты.

Составлялись и пересоставлялись диспозиции и адъютантами главнокомандующего, и адъютантами командира корпуса, и адъютантами его самого и генерала Павлова, а о такой мелочи, как тяжело раненные, которые могут истечь кровью, пока дотащат их на перевязочный пункт, совершенно забыли.

Недолго после Соймонова прокомандовал остатками полком 10-й дивизии бригадный генерал Вильбоа, — он тоже был ранен. Командование перешло к полковнику Пустовойтову, но через несколько минут тяжело был ранен и Пустовойтов. Его заменил полковник Александров, но вскоре был убит и он.

Ранен был штуцерной пулей и командир сводной батареи полковник Загоскин...

Большая часть подполковников, майоров, капитанов на выбор расстреливались английскими снайперами, и к англичанам все прибывали резервы, а дивизия Жабокритского продолжала лежать в лощине и ждать приказа выступить.

Екатеринбургский полк уже отступил: он потерял почти три четверти людей и не мог держаться. Томцы и колыванцы пятились тоже, отстреливаясь. Англичане уже обходили их с флангов, готовясь отрезать от дороги вниз, когда подошли, наконец, уже в восемь часов свежие полки.

Но это были полки колонны Павлова, которые только теперь успели кое-как добраться до гребня Сапун-горы.

## II

Почему же так запоздала колонна Павлова, которая по диспозиции Меншикова должна была наступать в одно время с колонной Соймонова?

Потому что генерального штаба полковник Герсеванов, писавший диспозицию Меншикову, не имел понятия о том, что такое большой

мост через реку с топкими берегами и какое время нужно, чтобы его навести.

Он думал, что навести готовый уже, то есть сбитый из бревен, мост можно за какие-нибудь полчаса, между тем как сто человек портовых рабочих под командой лейтенанта Тверитинова, нахимовского флагоффцера, прибуксировав этот мост к устью Черной еще в полночь, провозились с ним в темноте до семи часов, но и тогда еще мост не вполне был готов, и Данненберг приказал передовым ротам стрелков начать переправу на лодках, чтобы хоть что-нибудь бросить на помощь Соймонову: целый час уже гремела жестокая канонада там, на горе.

Хладнокровный Тверитинов, по-видимому, имевший привычку делать все основательно, солидно, прочно, отвечал неизменно нескольким посланцам Павлова и Данненберга:

— Мост не готов еще, нет, и переправляться по нему нельзя... А когда будет готов, я тогда доложу.

Между тем было уже двадцать минут восьмого. Павлов приказал егерским полкам, Бородинскому и Тарутинскому, переходить по мосту, каков бы он ни был, и поехал с ними сам.

Полки перешли, и, не теряя уж ни минуты на отдых, поднялись на высоты, и подоспели если и не вовремя, чтобы помочь биться, то все-таки кстати, чтобы прикрыть отступление сильно обескровленной 10-й дивизии и занять в бою ее место.

Соймоновская батарея еще держалась на Казачьей горе. Увидя новые силы, там удвоили огонь, и полки, хотя сильно обстрелянные уже бригадой Адамса, бросились на нее, откинули ее назад и пошли прямо на редут, в котором хотя и не было пушек, но засело много стрелков. Стрелки эти подпустили тарутинцев шагов на шестьдесят и встретили их залпом беспощадно убийственным.

Однако, перепрыгивая через погибших при этом товарищей, тарутинцы стремительно кинулись в редут и перекололи стрелков.

Они были налегке, — без мешков, которые были выданы всей дивизии Кирьякова после дела на Алме, где несколько батальонов этой дивизии сбросили с себя ранцы, сильно давившие и резавшие плечи ремнями. Мешки тарутинцы, как и бородинцы, сбросили с себя на

последнем подъеме на гору перед атакой. В мешках было все немудрое имущество их: белье, сапоги, бритвы, кусок мыла, табак, — но как развернуться для удара в штык, когда надоевшим горбом торчит этот нищенский мешок за плечами?

Зато стремителен был их натиск.

Но примириться с потерей редута не захотели англичане. Не прошло и пяти минут, как снова, перестроившись, двинулись они на тарутинцев. Густой орудийный дым скрыл их наступающие ряды; залпом из своих очень трудно заряжаемых ружей не успели их встретить тарутинцы, и вот около редута и в самом редуте снова начался свирепый рукопашный бой.

В армии каждого народа скопляется за долгие годы его жизни та героика, без которой не бывает победоносных армий.

«Дети королевы Виктории» твердо знали о себе, что они — английские пехотинцы — совершенно непобедимы в штыковом бою, как английские драгуны и гусары непобедимы в рубке, а уланы в уменье действовать пикой.

Эта уверенность в себе до того усилила их напор, что тарутинцы были в свою очередь смяты и выбиты из редута.

Но на помощь им бросился батальон бородинцев, которые тоже знали о себе, что в руках у них русские штыки, а ведь они с подхватами, с присвистами чуть ли не каждый день пели, возвращаясь в лагерь с ученья, свою солдатскую песню о штыке:

Пуля-дура проминула, —

Поднесешь врагу штыка!

Штык, штык

Невелик,

А посадишь трех на штык...

Велика сила традиций о боевой непобедимости: это была тяжелая и кровавая схватка. Ни та, ни другая сторона долго не верила в то, что не она непобедима. Ломая штыки, бились прикладами, как дубинами; выхватывали друг у друга ружья и штуцеры и теряли их в свалке; хватали камни и дрались камнями; наконец, просто душили друг друга руками, — с каждой минутой все глубже опускались в доисторическое. Редут остался за бородинцами, хотя при этом тяжело был ранен их

командир полка — Вережкин-Шелюта 2-й. Однако недолго торжествовали и бородинцы; они не успели еще оглядеться в отвоеванном редуте, как уже были осыпаны звучными пулями. Откатившись на четыреста — пятьсот шагов и поддержанные свежим полком, стрелки Адамса открыли частую пальбу из штуцеров, сами будучи в полной безопасности от русских гладкостволок.

Горка редута была открыта в их сторону, и нельзя было где-нибудь в редуте укрыться всем бородинцам от меткого и злого огня, как трудно было и покинуть взятое после такого боя укрепление.

Все-таки пришлось покинуть: слишком велики были потери. Кроме того, совсем близко придвинулась легкая батарея и осыпала картечью.

Эти легкие батареи англичан были неразлучны со своими пешими бригадами, в то время как батарейная батарея русских, заняв в начале боя позицию на Казачьей горе, не сдвинулась с нее до конца, хотя большая половина артиллерийской прислуги и лошадей была там перебита не столько гранатами противника, сколько его штуцерным огнем.

Переполовиненная упорными схватками бригада Адамса снова заняла редут, но бой за обладание им отнюдь не кончился этим.

Бородинцы и тарутинцы, к тому времени лишившись почти всех старших офицеров и предводимые молодежью — прапорщиками и юнкерами, объединились в одно скопище людей со штыками, которое можно было бы назвать лавою, или, по-русски, стеною, как это было принято тогда на кулачных боях, но никак не бригадою, и кинулись на укрепление вновь.

Это уж был малосмысленный порыв — азарт, хорошо знакомый карточным игрокам. Укрепление без орудий не имело особого значения. Оно оставалось, пожалуй, только местом, на котором погибло много товарищей, и за них хотелось отомстить.

Теперь бой был гораздо короче: англичане сочли за лучшее отступить и опять приняться за испытанную стрельбу на выбор.

Но им на помощь шли саженные гвардейцы бригады генерала Бентинка — три тысячи человек при шести полевых орудиях, с одной стороны, и бригады Пеннефетера и Буллера, вытеснившие к тому

времени остатки полков Соймонова, — с другой. Кроме того, спешили посланные Боске три батальона французов.

При этом орудия на Казачьей горе стреляли уже редко: там истощались зарядные ящики.

Меншиков надеялся, что англичане будут выбиты из своих позиций: однако взятые позиции необходимо было укрепить, чтобы их не отобрали. Поэтому целый обоз фур и полуфурков, нагруженных фашинами и мешками, и команда саперов при них двинулись по старой почтовой дороге.

Укреплять взятые позиции приказано было Тотлебену, и он хотя и видел бесконечные вереницы раненых, спускавшихся вниз, к Инкерманскому мосту, где был перевязочный пункт отряда Павлова, все-таки не думал о полной неудаче дела и поднялся на плато к 10-й дивизии.

Только тут он увидел, что туры пока излишни. Кучи солдат разных полков, вяло отстреливаясь, спускались с плато в балки. Под частыми пулями англичан, под разрывами их картечи, в дыму искал он генерала Соймонова, но ему сказали, что Соймонов уже больше часа тому назад убит, что солдаты не знают, кто сейчас у них начальство и что им делать.

Тотлебен повернул лошадь и поскакал вниз за резервами.

Несколько офицеров верхами стояли укрыто от пуль и смотрели вниз, откуда подходили батальонные колонны. Это был генерал Павлов с адъютантами и юнкером-ординарцем. Тотлебен несколько знал его по Дунайской кампании.

— Туда надо послать резервы! — крикнул он, подъезжая.

— Вы ко мне?.. Кем посланы, полковник? — удивился его крику Павлов. — Вас генерал Соймонов послал?

— Меня не посылал никто... Генерал Соймонов убит, и солдаты остались вообще без офицеров, ваше превосходительство!

— Соймонов убит? — чрезвычайно поразился Павлов, будто Соймонов был чугунная статуя и убитым быть не мог.

Он снял фуражку, перекрестился, надел ее козырьком набок и пробормотал:

— Артиллерию туда надо!

— Надо, да, надо и артиллерию тоже, — подтвердил Тотлебен.

— Но ведь теперь уже корпусный командир сам принял начальство над обоими отрядами, значит, только он и может распорядиться послать общий резерв, — раздумывал вслух Павлов, видимо все еще не пришедший в себя после того, как услышал о смерти Соймонова.

— Прикажете, ваше превосходительство, доложить командиру корпуса? — обратился к нему один из адъютантов, поручик.

— Поезжайте, поезжайте сейчас же!.. А если встретите где-нибудь батарею, тащите ее сюда моим именем! — оживился Павлов.

И поручик поскакал вправо и вниз, а Тотлебен влево, туда, где, он видел, расположилась, лежа в ложине, сводная дивизия Жабокритского. Но там он нашел уже всех в движении. До Жабокритского дошло, наконец, известие о том, что Соймонова уже нет на поле сражения; старшим начальником всего отряда становился теперь он сам и должен был выручать разбитые полки, в беспорядке спускавшиеся в верховья Килен-балки. Бутырскому и Углицкому полкам приказано было идти на прикрытие артиллерии на Казачьей горе. С ними вместе потянулись вверх и две батареи легких орудий.

Было уже девять часов; туман поднялся; день обещал продержаться ясным до вечера. Но Севастопольские бастионы тонули в дыму, из которого, как огненные языки, то и дело прорезывались вспышки выстрелов.

### III

Как архитектор, давший чертежи плана и фасада большого здания подрядчикам, а сам отлучившийся до полного почти окончания работ, иногда не может узнать, приехав, своего детища и приходит в отчаяние от тех нелепых форм, какие получились у подрядчиков, — так Меншиков, сопровождавший великих князей, ничего не мог понять, приблизясь к Инкерманскому мосту, из того, что происходит там, на горе.

Оттуда доносилась канонада, оттуда густо шли раненые, и уже гораздо более батальона на взгляд столпилось около перевязочного пункта, а между тем через мост только еще переходила тяжелая артиллерия колонны Павлова.

На четырехверстном подъеме к тому месту инкерманских позиций англичан, какое Меншиков наметил для прорыва, как-то тоже совершенно непостижимо и бессмысленно, точно муравьи, кишели серошинельные солдатские массы, облепившие весь подъем.

Одни медленно тащились в гору, другие поспешно бежали в овраги каменоломни и оттуда, видно было по дымкам, стреляли вверх.

Между тем видно было и то, как неприятельские гранаты рвались почти на середине подъема, и трудно было решить, делают ли они непозволительные перелеты, или совсем недалеко от крутых ребер спуска с Инкерманского плато поставлены английские орудия и обстреливают отступающих.

А фурштатские солдаты с турами и шанцевыми лопатами, размахивая вожжами, лихо взбирались по тяжелой дороге, спеша доставить необходимые материалы для укрепления взятых позиций.

Когда выезжал с Северной стороны сюда Меншиков, он думал все-таки предоставить великим князьям это не испытанное еще ими удовольствие осмотреть только что взятые после горячего боя неприятельские позиции; но теперь его мысли шарахались оторопело: сражение по многим признакам было как будто уже проиграно, — застать врасплох англичан, видимо, не удалось, и он не знал ни что ответить царским сыновьям на их вопросы об этом, ни где найти для них на той стороне Черной безопасное и в то же время не слишком удаленное от боя место.

Огромная свита великих князей, включая сюда и адъютантов главнокомандующего и ординарцев от всех полков, медленно продвигалась по плотине в хвосте занявшей всю ширину ее артиллерии Павлова. В этой свите все тоже встревоженно-вопросительно вглядывались и в таинственную гору и в лица друг друга.

— Мы явились к концу дела или к середине еще, — как думаете, Александр Сергеич? — спросил Меншикова Михаил.

— Я думаю, что был всего только авангардный бой, а теперь вот начнут наступать главные силы Павлова, ваше высочество, — преданно изогнулся на седле светлейший.

— Это отряд генерала Павлова; а где же отряд Соймонова? — спросил

Николай.

— Он наступает с той стороны, — уверенно указал Меншиков вправо, к верховьям Килен-балки.

Въехали на мост. Колеса орудий громыхали по мокрому дереву моста, копыта многочисленных лошадей гулко стучали; это благодетельно мешало говорить о неприятном для Меншикова обороте дела с наступлением.

Но вот миновали мост и вторую плотину.

Раненые шли вереницей. Иные хромали и опирались на ружья, как на палки, или поддерживали простреленную руку другою рукой. Но, кроме одиночек, много было и в окружении помогавших им, с виду вполне здоровых, или носилки с тяжело ранеными тащили вчетвером, даже вшестером.

Неистовые вопли неслись, не переставая, с иных носилок. Иные раненые причитали нараспев. С носилок капала кровь, и глинистая дорога с горы заметно порудела.

К раненым солдатам Меншиков не хотел обращаться с расспросами о том, что творилось там, на верху; они, конечно, и не могли бы объяснить всего дела, так как видели только то, что было около них.

Но вот поровнялись с ним носилки с тяжело раненым офицером; однако офицер этот не мог говорить: одна из штуцерных пуль, какими он был ранен, прошла через обе щеки, когда он раскрыл рот для команды, и почти оторвала язык, который свешивался теперь на подбородок, кровавый, вспухший и немой.

Наконец, попался на глаза Меншикова какой-то молодой офицер верхом, говоривший с командиром подымавшейся батареи. Он говорил, как старший младшему, энергично показывая при этом рукою вверх, на кручу.

Безошибочно предположив в нем чьего-то адъютанта, Меншиков послал за ним лейтенанта Стеценко, и вот поручик подъехал с застывшей у козырька рукой.

Отделившись от великих князей, спросил его светлейший:

— Что, как идет наступление?

— Одна английская батарея взята, ваша светлость! — тактично начал с самого приятного для главнокомандующего поручик.

— А-а... — неопределенно протянул Меншиков. — Сколько же именно орудий?

Этого вопроса не ожидал поручик. Он имел в виду редут № 1, который то захватывался, то отдавался снова тарутинцами и бородинцами, и он только предполагал там орудия.

— Точного числа орудий не могу знать, ваша светлость, — замялся он.

— Вы адъютант генерала Павлова?

— Так точно!

— А как идет наступление колонны генерала Соймонова?

Поручик видел, что пытливость главнокомандующего слишком велика, а он знал очень мало.

— Ваша светлость, полки нашей колонны перемешались с полками той колонны...

— Как так перемешались? — очень удивился Меншиков.

— Большая убыль офицерского состава, ваша светлость... Так что даже и генерал Соймонов, — есть сведение, — опасно ранен.

Как адъютант поручик знал, что высшее начальство не любит печальных истин, и постарался несколько смягчить то, что услышал от Тотлебена.

— Соймонов?.. Опасно ранен? — ошеломленно повторил Меншиков и, не спрашивая уже ничего больше, послал свою лошадь вперед.

Нисколько не надеясь на Данненберга и подозрительно относясь к Павлову, Меншиков из трех новых для него генералов больше всего чувствовал доверия к Соймонову, почему дал ему в командование семь полков, а Павлову только пять, — хотя численно и несколько большего состава, — и задачу на Соймонова возложил труднее и ответственной. Убыль этого генерала сразу показалась ему зловещей настолько, что он умолчал о ней великим князьям, хотя передал туманное известие о взятой батарее.

Пришлось остановиться на полуподъеме в закрытом, казалось бы, месте, однако вышло так, что и здесь было далеко не безопасно: вскоре низко перелетевшим ядром контузило в голову двух адъютантов Меншикова — полковника Альбединского и Грейга, который, несмотря на весьма неутешительное донесение об Алминском бое, вернулся из Гатчины ротмистром.

#### IV

Барабаны судорожно-лихо били атаку ротам Охотского полка.

Два других полка дивизии Павлова, Якутский и Селенгинский, несколько отстали, — охотцы всходили уже на Инкерманское плато с той именно стороны, откуда взошли недавно, а теперь частью спустились уже в каменоломни, частью спускались остатки бородинцев и тарутинцев.

Гвардейцы бригады Бентинка — полк кольдстримов, засевший в редуте № 1, — встретили охотцев рассчитанными залпами, и в числе первых были тяжело ранены ведущий охотцев полковник Бибииков и два командира батальонов, но это остановило солдат только на время: отхлынув было, они прихлынули снова.

Теперь в редуте стояло уже девять орудий, а кольдстримы были отборные пехотинцы: батальоны охотцев встретили вполне достойных соперников.

Бутырский и Углицкий полки командовавший теперь всеми атакующими силами Данненберг не вводил пока в дело: они прикрывали в это время артиллерию, которая сменялась и занимала новые места.

Двадцать два полевых орудия, поставленные еще Соймоновым на Казачьей горе, отведены были в резерв. Их заменили тридцать восемь легких, и теперь эти новые состязались и с тридцатью пушками англичан и осыпали снарядами редуты.

Подкрепленные этим, охотцы бросились в штыки на кольдстримов. Упорно защищались гвардейцы, блюдя свою славу непобедимых, но русский способ удара штыком был знаком им еще с Алминского боя, когда они отражали владимирцев; они знали, что если не удастся отбить удара, то можно заранее прощаться с жизнью.

Русских солдат учили бить штыком только в живот и сверху вниз, а ударив, опускать приклад, так что штык подымался кверху, выворачивая нутро: бесполезно было таких раненных даже и относить в госпиталь.

Но в редуте, охваченном охотцами со всех сторон, было слишком тесно, чтобы отбивать русские штыки. Кольдстримам удалось только

кое-как пробиться и отступить, оставив на месте более двухсот убитых.

Из девяти орудий, там взятых, охотцы заклепали шесть, а три оттащили к оврагу и сбросили.

Этот злополучный редут, подступы к которому сплошь и со всех сторон были уже завалены убитыми, оказавшийся снова в русских руках, очень озаботил Раглана.

Он видел, что появляются на английских позициях все новые и новые русские полки взамен разбитых, так что резервы Меншикова могли показаться совершенно неистощимыми. Он только что перед этим простился со смертельно раненым около него старым соратником, генералом Странгвейсом, который сражался еще с войсками Наполеона в битве под Лейпцигом, командуя ракетной батареей, и вот где нашел свою смерть.

Кроме того, одно за другим получались донесения, что ранены генералы: Адамс, Буллер, Кондрингтон... Наконец, и бывший рядом с ним французский главнокомандующий контужен был в руку. Это показывало, что они слишком близко стояли к линии огня, что нужно было отодвинуться шагов на пятьдесят, то есть упустить общее командование боем из своих рук, потому что пушечный дым мешал что-нибудь видеть с почтенного отдаления.

Отъезжая все-таки несколько назад, он послал своего адъютанта к генералу Каткарту, начальнику 4-й дивизии, с приказом двинуться в сторону редута, занятого русскими, и отбить его.

Каткарт, как и сам Раглан, как и Броун, был любимым адъютант Веллингтона и тоже участник знаменитых битв с Наполеоном под Лейпцигом и при Ватерлоо. Незадолго перед Крымской войной победно закончил он южноафриканскую войну с кафрами. Ему было шестьдесят два года, но он имел вид сорокалетнего по своей энергии, пылкости и молодости движений.

Немедленно по получении приказа два его бригадных генерала, Гольди и Торренс, повели свои бригады отбивать редут.

Силы были, конечно, далеко не равны. К дивизии Каткарта, кроме кольдстримов, присоединились еще два гвардейских полка Бентинка.

Охотцы еще не успели как следует очистить редут от тел убитых,

когда увидели, что их окружают со всех сторон. Отстреливаясь, они отступили.

Но в это время подходила уже подмога и им: из-за каменного гребня выдвигались передовые роты якутцев.

Селенгинский полк двинут был левее якутцев. По пути он принял за англичан остатки тарутинцев, стрелявших из каменоломен вверх в англичан и потому окутанных густым дымом, и поднял против них такую оживленную пальбу, что если бы тарутинцы не поспешили сползти на дно оврага и там залечь, то они вообще перестали бы существовать как полк.

Но когда Каткарту донесли об этом шумном движении еще нового русского полка, он предоставил гвардейцам удерживать редут против якутцев, а сам бросился со своими полками вправо, чтобы окружить селенгинцев.

Но случилось то, чего не предвидел Каткарт.

Как только якутцы поднялись на плато и увидели отступавших охотцев, они ударили англичанам во фланг так стремительно, что смяли их и погнали в промежуток между редутами.

С особенно большим уроном отброшены были гвардейцы Бентинка. Сам Бентинк при этом был тяжело ранен в руку, двенадцать его офицеров, представители знати, убиты...

Якутцы и сами не заметили, как очутились далеко позади первого редута, откуда их начали бить штуцерным огнем кольдстримы.

Правда, их засело там уже немного, остатки полка, человек четыреста. Когда они заметили, что русские готовятся к атаке, то есть к работе штыками, они по одиночке начали покидать редут, выбегая оттуда в сторону дивизии Каткарта.

Якутцы бросились к редуту, и он был занят снова, — в который уже раз в этот злосчастный день! — русскими солдатами.

Но и охотцы подошли частью к этому редуту, но в большей своей части ко второму, и неожиданной для англичан дружной атакой ворвались в него. Так оба редута оказались в русских руках.

Каткарт увидел вдруг, что не он обходит селенгинцев, а селенгинцы его. И они обходили его обдуманно и очень искусно, пользуясь складками местности и дымом. Кроме того, две легких донских

батареи взобрались вслед за якутцами на плато, выстроились и открыли по его дивизии сильный картечный огонь.

Каткарт понял, что он зарвался, приказал отступать на редут № 1, но из редута его обстреляли вдруг ружейным огнем.

Думая, что редут занят кольдстримами, которые стреляют только потому, что в дыму принимают его солдат за русских, Каткарт скомандовал своим:

— Снять шинели!

Красные мундиры должны были прекратить печальное недоразумение, но обстрел из редута стал еще сильнее.

Тем временем охотцы — части третьего и четвертого батальонов — плотно сдвинулись около левого фланга 4-й дивизии, со стороны бригады Торренса, и Каткарт увидел, что он окружен.

Поспешно строя свои полки в каре, он командовал им:

— Огонь!

Открыли беспорядочную стрельбу англичане, но очень скоро истощили запасы носимых в подсумках патронов.

— Огонь! — неоднократно повторял команду Каткарт.

— У нас нет больше патронов! — кричали в ответ солдаты.

— А разве нет у вас штыков? — крикнул Каткарт. — В штыки!

И сам первый бросился в сторону охотцев, казавшуюся ему наиболее слабой.

Но хотя охотцы и были действительно наиболее слабой из окружавших его частей, штыки у них тоже еще были, и действовать ими они умели.

Атаку англичан они отбили, отбросив их далеко на редут.

При этом смертельно ранен был бригадный генерал Гольди, ранен был другой генерал — Торренс, убито и ранено много офицеров, но Каткарт уцелел и, кое-как построив свои ряды, повел их в атаку на якутцев.

При этой новой атаке он был убит пулей в голову, а при попытке поднять его с земли был ранен и адъютант его, полковник Сеймур. Но смерть его так возбуждающе повлияла на его солдат, что они все-таки пробились, хотя и оставив много тел.

У

Между тем в это время донесли Канроберу, что отряд русских войск со

стороны Севастополя атакует французские позиции. Одновременно с этим и Раглан получил донесение, что русские движутся на Балаклаву. — Ого! Так вот оно что! — не столько удивился этому донесению, сколько обеспокоился Раглан и, обратился к Канроберу с виду спокойно:

— Я начинаю думать, что мы... очень больны, а?

— Не совсем еще, милорд, — ответил Канробер. — Надо надеяться...

Немедленно были посланы адъютанты разузнать насчет наступления на Балаклаву: это было больное место Раглана. Однако они скоро вернулись с успокоительной вестью, что Балаклава пока в безопасности; что же касается позиции французов, то там действительно идет жаркое дело.

Еще рано утром в этот день Минский полк, в котором числилось три тысячи человек, собрался к шестому бастиону.

Предполагалось вначале, что вместе с ним пойдет на вылазку и Тобольский полк, но Меншиков отменил это свое распоряжение вечером накануне: он решил поберечь пока боевой полк и заменил его резервными батальонами — Виленским и Брестским.

Четыре легких орудия были приданы полку, но штуцерных мало досталось на его долю, и в застрельщики пришлось отправить солдат с гладкостволками. Пошли между Карантинной бухтой и кладбищем. С бастиона взяли с собой молотки и стальные ерши для заклепывания орудий, — взяли десять штук стальных ершей, но мало, как потом оказалось.

Никто не представлял, конечно, не только ясно, даже и приблизительно, как может развиваться вылазка, не ночная, какие бывали неоднократно, а при обычном утреннем свете, и не малым отрядом, а целым полком и с орудиями, притом в такое время, когда отнюдь нельзя застать врага врасплох: шла канонада по всему фронту, шло наступление главных сил.

Прошли без выстрела с полверсты от Карантинной слободки, — было подозрительно тихо в густом тумане. Генерал Тимофеев, взяв с собой застрельщиков, сам поехал верхом вперед, чтобы не завести весь отряд в засаду.

Наконец, из-за длинной каменной стенки их обстреляли французы

жидким штуцерным огнем. Удостоверясь, что засады нет, Тимофеев скомандовал наступление.

Французские стрелки, отступая, соединялись с другими, расположенными ближе к позициям, и вот уже жестокие залпы встретили наступающих с такой дистанции, какая была недоступна русским ружьям.

Вслед за этим с двух осадных батарей полетели гранаты.

Тимофеев, артиллерийский генерал, приказал своим легким орудиям открыть огонь по французским стрелкам, а полку ускорить шаг.

Наконец, подошли к неприятельским батареям так близко, что солдаты, много товарищей своих теряя от стрельбы французов и не имея возможности ничем на это ответить, просили Тимофеева:

— Ваше превосходительство, дозволейте орудия его взять!

«Он» был вообще неприятель, орудия же были осадные, огромных калибров, те самые орудия, которые посылали смерть и увечья в осажденный город.

И Тимофеев позволил. И ничто уже потом не могло удержать минцев: ни залпы из штуцеров, ни картечь. Они закричали «ура» и побежали в атаку.

Бежало три тысячи, добежало две с половиной, но зато добежавших не могли уж остановить штыки французов.

Не было уже среди минцев ни командовавшего полком майора Евспавлева, — он был ранен, — ни одного из капитанов, командовавших батальоном, — они тоже выбыли из строя, — и много других офицеров было ранено и убито, — штабс-капитану пришлось командовать всеми этими пришедшими в сильнейший боевой раж героями в серых шинелях.

Несколько минут — и укрепление было взято.

— Ершей сюда! Давай ершей! — кричали солдаты, обнимая французские пушки и гаубицы.

Вот тогда-то и оказалось, что ершей захватили мало: пушек и гаубиц было пятнадцать.

Закатывали большие камни в чугунные жерла, забивали их банниками как можно глубже, потом ломали банники.

Но орудия свои защищали французы пулями и штыками, и кипела

около них отчаянная борьба. Французов было не мало: пять батальонов траншейного караула.

Однако минцы найденными тут же на батарее топорами и ломami рубили и вдребезги разбивали лафеты, сбивали с орудий прицелы, делали все, чтобы только привести их в негодность.

Генерал Тимофеев с барабанщиками и горнистами остался сзади и следил в бинокль за тем, что происходит на батарее.

Уже около часа хозяйничали минцы у французов. Чтобы не стреляли по ним французы из траншеи, они завалили вход в нее амбразурными щитами. Но Тимофееву было виднее, чем им, что они всполошили весь осадный корпус французов, что в обход их уже движется беглым шагом по направлению к Карантинной бухте не одна, а несколько колонн.

Он приказал горнистам трубить и барабанщикам бить отбой, но, увлеченные разгромом батареи, минцы не слышали отбоя.

А между тем, кроме той бригады, которая была послана в обход минцам, генерал Форе, начальник дивизии, послал другую свою бригаду под командой генерала Лурмеля из тыла прямо на минцев. Но двигались также сюда еще и дивизии Лавальяна и принца Жерома Бонапарта.

Таким образом, переполох был поднят значительный, и большие силы французов были отвлечены от подачи помощи англичанам. Тимофееву оставалось только привести полк назад с наименьшими потерями.

Барабанщики яростно колотили в барабаны, горнисты трубили во все легкие. Наконец, отбой был слышан, да кое-кто из минцев увидел, что их обходят. Закричали:

— Обходят, братцы! Сейчас отрежут! — и начали поспешно строиться в ротный порядок.

Но безнаказанно уйти, подняв на ноги все французские силы, они не могли, конечно.

Бригада Лурмеля не один раз атаковала их на ходу, приходилось бросаться в контратаку, отстаивать себя надежными штыками, отстреливаться.

На помощь им спешили резервные батальоны Виленского и Брестского полков. Минцам же нужно было не только уйти самим, но еще увести и

унести с собою здоровых и раненых пленных — двух офицеров и сорок солдат, а Лурмель со своей бригадой преследовал их по пятам. Можно было даже думать, что на плечах минцев он хочет ворваться на русскую батарею и разгромить ее с еще большим успехом, чем это удалось сделать минцам у французов.

Другая бригада Форе под командой д'Ореля отстала, не доходя до Карантинной слободки, к которой подошел третий резервный батальон — Белостокский, а Лурмель все гнался за минцами.

И, подведя геройский полк к батарее капитан-лейтенанта Шемякина, Тимофеев приказал ему рассыпаться в стороны, а батарее открыть огонь по французам.

Залп изо всех орудий отрезвил зарвавшуюся бригаду. Сам Лурмель был убит одним из первых. Остаткам его полка едва удалось отступить под прикрытием бригады д'Ореля.

Минцы потеряли в эту лихую вылазку треть полка, но потери французов были гораздо больше.

И если бы отряд Горчакова сделал такую же и в одно время попытку атаковать корпус Боске, Инкерманское сражение окончилось бы крупной победой севастопольских войск, и союзникам пришлось бы снимать осаду.

Но Горчаков, как он сам потом писал в своем донесении Меншикову, «хотел избежать излишнего кровопролития», и двадцатидвухтысячный отряд его зря простоял в этот решительный день на занятых им с утра местах в балаклавской долине.

## VI

Впрочем, Горчакову трудно было и угадать тот момент, когда наступление хотя бы двух его пехотных полков на Сапун-гору могло бы приковать к своим позициям корпус Боске. О том, когда именно произошла вылазка минцев, не знали даже и Павлов и Данненберг, бывшие гораздо ближе к Севастополю, чем Горчаков и Липранди. Связь между отрядами тогда поддерживалась исключительно только конными ординарцами и адъютантами, которые безотказно, конечно, скакали, куда бы их ни послали генералы, но не всегда могли доскакать вовремя.

Наконец, и Тимофеев, при всей удаче своей вылазки, все-таки произвел ее значительно позже, чем было ему приказано, но для главных сил русских все-таки полезнее было бы, если бы с тою же удачей он захватил и привел в негодность французскую батарею и отвлек дивизию Форе к Севастополю часом позже, потому что именно час спустя, в одиннадцать дня, началась решительная стадия боя.

К этому времени не только редут № 1, но и редут № 2, куда англичане успели доставить два осадных орудия, был захвачен полками Павлова. Расстроенные продолжительным, несколько часов уже длившимся боем, потерявшие не меньше четверти своего состава и почти всех своих генералов, бригады англичан были оттиснуты в промежуток между вторым редутом и верховьями Килен-балки. Здесь был тяжело ранен ядром в руку и бок старый сэр Джордж, командир легкой дивизии. Раздробленная рука его висела, бледное лицо с закрытыми глазами было безжизненно, длинные седые волосы трепало ветром, когда его несли далеко в тыл на перевязочный пункт. Из английской армии выбыл еще один участник войны с Наполеоном и ученик Веллингтона.

Под племянником королевы Виктории, дюком Кембриджским, была убита лошадь, хотя он и оберегался Рагланом и держался вместе с ним в тылу. Но стоило только Раглану на правах главнокомандующего сделать этому молодому начальнику гвардейской дивизии легкое замечание, что он опоздал послать свою вторую бригаду на поддержку первой, отчего та понесла большие потери, как герцог ответил ему испуганным криком.

Его голос был дик и хрипл, лицо конвульсивно дергалось, в глазах стояли слезы... Несколько человек едва могли удержать его.

Ужасные картины боя, потеря многих друзей из представителей высшей знати так подействовали на герцога, что он бился в сильнейшем нервном припадке, которым началось его длительное умственное расстройство. Его отвезли в госпиталь в Балаклаву.

А к русским полкам приехал Данненберг в сопровождении своего начальника штаба генерал-майора Мартинау, чтобы руководить их наступлением.

Правда, силы наступающих все-таки были меньше, чем силы

англичан. В трех полках — Охотском, Якутском и Селенгинском — до начала боя считалось восемь с половиною тысяч, теперь оставалось не более шести, в то время как англичане имели вполне боеспособных тысяч восемь-девять, и английские солдаты были далеко не так утомлены, как русские, прошедшие ночь под дождем и без сна и сделавшие переход по тяжелой грязной дороге. Но нужно было пользоваться моментом замешательства англичан и развивать успех боя.

Однако Раглан тоже видел, в каком положении находились его войска, и тут британская самонадеянность его уступила место необходимости: он обратился за помощью к французам.

Генерал Бурбаки был уже наготове оказать эту помощь и явился тем почти лошадиным по быстроте маршем, к какому были способны только зуавы и алжирские стрелки, но он со своими почти тремя батальонами и двенадцатью орудиями стоял сравнительно недалеко, — на стыке английских и французских позиций.

Убедившись окончательно, что Горчаков отнюдь не собирается атаковать его, Боске снял из своего корпуса еще девять тысяч, но этим было уже значительно дальше идти до места боя.

Конечно, и Горчаков мог бы отправить по крайней мере два полка, чтобы подкрепить Данненберга, но это был для него слишком смелый шаг, да, наконец, он не получал на этот счет никаких приказаний от светлейшего, и 12-я дивизия простояла совершенно бесполезно в то время, когда решался вопрос, быть или не быть дальнейшей осаде Севастополя.

Батальоны Бурбаки рьяно кинулись в бой: им хотелось показать англичанам, как надо драться.

Но зуавы были в фесках, зеленых и красных, в восточных широких шароварах и с окладистыми черными, совсем мусульманскими бородами. Якутцы, со стороны которых они появились, приняли их за своих старых знакомых по Дунайской кампании — турок.

— Турки, братцы! Турки заходят во фланг! — кричали они, но совсем не озабоченно, скорее радостно даже: турки были привычным врагом, в турках не было ничего страшного.

И хотя Бурбаки выдвинул для успешности натиска на русских всю

свою артиллерию, на «турок» якутцы ударили яростно, как и не ожидали зуавы. Они смешались и отступили в беспорядке; якутцев же не остановил и оживленный артиллерийский обстрел. Они теряли много, но стремительно рвались вперед за «турками».

Наконец, за оврагом, на длинном пригорке, увидели перед собой шесть орудий. Передки с выносами в шесть по-русски сытых и дюжих серых лошадей подъезжали к орудиям.

— Что это? Наши, никак? Гляди!

— Известно, наши! — решили якутцы.

Но тут же их обдало картечью. Погибшие при этом остались на этой стороне оврага, но остальные кинулись вперед через овраг, и только четыре орудия успели увезти серые лошади, — два отбили якутцы.

Они отбили их, правда, после жестокой схватки: французы отчаянно защищали их, но помогла уверенность русского солдата в том, что турок не может его одолеть.

Якутский и Охотский полки наступали с фронта, селенгинцам же удалось даже обойти левый фланг англичан и появиться у них в тылу. Данненбергу стоило бы только двинуть в дело два свежих полка, и победа спустилась бы на русские войска и повлекла бы за собою снятие осады.

В его распоряжении было не два, а четыре полка, оставшиеся от колонны Соймонова: Владимирский, Суздальский, Углицкий и Бутырский, — но он думал не столько о победе над англичанами, сколько о порядке отступления после того, как будет разбит.

## VII

Данненберг имел боевое прошлое.

Так же, как и его противники в Инкерманском сражении, английские генералы Раглан, Броун, Каткерт, Странгвейс, — он был в 1812–1815 годах участником многих сражений с Наполеоном. Он считался одним из лучших знатоков военного дела в русской армии, но, находясь под начальством Горчакова 2-го в Дунайской кампании, он был одним из наиболее задерганных им генералов.

Меншиков имел все основания встретить сообщение о том, что вместе с 4-м корпусом к нему отправляется Данненберг, гримасой отчаяния:

дело около селения Новая Ольтеница, при впадении речки Аржис в Дунай, было проведено Данненбергом исключительно неудачно.

Может быть, и сам Данненберг, когда так решительно отказывался от наступления на Инкерманские позиции 23 октября, имел в виду то обстоятельство, что как раз 23 октября исполнялась годовщина Ольтеницкого дела.

Однако и теперь, 24 октября, стоя на левом фланге артиллерии и наблюдая за ходом боя как раз с такого места, с которого за орудийным дымом едва ли что-нибудь было видно, этот незадачливый генерал мог не один раз припоминать печальные картины наступления на турок русских полков, тем более что и полки эти были те же самые — Якутский и Селенгинский, и те же самые командиры полков: Якутского — полковник Бялый, Селенгинского — полковник Сабашинский, шли впереди их, и тот же начальник дивизии, лысый, восточного обличья, торопливый генерал Павлов, с неукоснительною исполнительностью ловил на лету и проводил его приказанья.

Дело при Ольтенице было весьма позорным делом, но тогда сам Горчаков великодушно разделил вину Данненберта, сваливая все неудачи этой войны на канцлера Нессельроде, который лишал инициативы русские войска на Дунае, надеясь этим избежать интервенции Австрии, Англии и Франции в пределы России.

Ввиду того, что этим подневольным отсутствием инициативы со стороны русской армии отлично пользовался кроат Омер-паша, укрепляясь на берегах Дуная и даже переходя его, где бы ему ни вздумалось, Горчаков как раз за десять дней до Ольтеницкого сражения писал товарищу своих молодых лет Меншикову:

«Обстоятельства очень серьезны. Честь России и неприкосновенность ее границ в настоящее время покоятся лишь на двух головах: на вашей и на моей. Будем же действовать по собственному внушению и собственными силами, так как невозможно рассчитывать, чтобы подкрепления и инструкции прибыли к нам вовремя. Со дня на день я ожидаю, что девяносто тысяч фанатиков кинутся на меня сначала из Гирсова и Видина, а потом из Рушука, Туртукая и Силистрии...»

Конечно, поставленный в необходимость отнюдь не действовать наступательно, а предоставить агрессивные шаги туркам, чтобы

обелить русское правительство в глазах Европы, Горчаков мог ожидать нападения сразу со всех сторон.

Омер-паша предпочел действовать от Туртукая в очень удобном для него месте — близ устья Аржиса, где стояло каменное здание карантин. Сперва был занят турками близкий к устью Аржиса остров на Дунае, потом навели на судах мост через Аржис и, согнав с правого берега Дуная несколько тысяч болгар, так укрепили при помощи их и карантин и всю близлежащую местность, что это не могло не беспокоить Горчакова и Данненберга, и между ними началась изумительная по своей нервности переписка.

Со стороны турок действовал сам главнокомандующий турецкой армией Омер-паша. В занятое им и переоборудованное укрепление он сумел ночью переправить значительный гарнизон в десять тысяч человек; искусно расположил там большое число мортир и пушек; шагах в двадцати перед рвами саженой глубины заложил три ряда фугасов; кроме того, на правом берегу Дуная поставил в укреплениях несколько десятков орудий большого калибра; на острове поставлены были две батареи — четырнадцать орудий; наконец, батарея была расположена на лодках на Дунае.

И всему этому Данненберг не придавал серьезного значения: он считал это только демонстрацией и в этом духе писал Горчакову, находившемуся за сотню километров. Горчаков отвечал, что совершенно с ним согласен и ждет настоящего наступления со стороны Журжи.

Но через несколько минут отправил к нему нового ординарца с длинным заготовленным заранее наставлением, какими приемами действовать ему, чтобы сбросить турок в Дунай.

И потом в течение трех дней, с 20 октября по 23-е, то и дело мчались адъютанты и ординарцы от одного генерала-от-инфантерии к другому с письмами по поводу того, демонстрация это у Ольтеницы или этого терпеть нельзя и нужно немедленно опрокинуть турок в Дунай.

Иногда Горчаков даже обещал прибыть к Данненбергу на помощь с восемью батальонами и восемью эскадронами, но большей частью все опасался за свой фронт против Журжи и приказывал туда стягивать 12-ю дивизию.

Начальник штаба Горчакова генерал Коцебу записал в своем дневнике относительно этого времени: «Было большое волнение, и мы усердно молились».

Наконец, Горчаков пришел к последней уверенности, что наступление на него готовится от Журжи, и приказал категорически Данненбергу очистить от турок карантин: он посылал туда для рекогносцировки подполковника генерального штаба Эрнота, и тот вернулся с донесением, что карантин занят очень слабым отрядом, и даже сам с двумя батальонами брался его очистить.

Вместо двух батальонов назначены были для этого два полка. Дело казалось таким пустяковым, что не только начальство в ожидании наград было радо участвовать в нем, — нет, даже и солдаты, соскучившиеся от долгого бездействия, шли весело, с музыкой, с песнями, не желая останавливаться для отдыха... Однако очень многие из них не вернулись.

В двух полках было тогда считанных шесть тысяч человек; артиллерия была слабая. Но при отряде были уланы, и их офицеры предложили Павлову отправить эскадрон в рекогносцировку, чтобы добыть нужные сведения о противнике. Павлов рассердился.

— Вы хотите, чтобы турки испугались и ушли на другой берег? — закричал он. — Категорически запрещаю всякие эти рекогносцировки ваши!

Шли, как на праздник, заранее задабривая адъютантов, чтобы позабористее расписали в репортажах начальству их подвиги.

Даже местность, по которой нужно было идти в наступление, и ту не осветили, все из боязни спугнуть турок и через это лишиться наград. Генералы Павлов, Охтерлоне, Сикстель назначены были командовать отрядами в два батальона или батареей в двенадцать орудий, — из одного только желания дать возможность легким делом заработать орден или повышение по службе.

Распределив части своего отряда и общий порядок наступления, сам Данненберг остался в тылу, в селении Новая Ольтеница, руководить боем.

Поднялась сильная канонада с обеих сторон, и что же? Оказалось, что слабая численно артиллерия русского отряда наносила туркам

огромные потери, так как большой отряд их был скучен слишком тесно на небольшом дворе укрепления. Суда у пристани были зажжены снарядами и горели. Неприятельская артиллерия почти замолчала после часовой перестрелки.

Тогда Павлов двинул в атаку Селенгинский полк. Но чуть только он двинулся в густых колоннах и с неизменным «ура», заговорили орудия левого берега и острова. Огонь этот был так силен, что одному очевидцу «турецкий берег казался вулканом, изрыгавшим железо».

Однако селенгинцы, а за ними якутцы, хотя и теряли многих товарищей, не убавляли шага. Но тут сказалось полное незнание местности, и два батальона, которые вел генерал Охтерлоне, попали в топь, в которой увязли по колено.

Остальные шесть все-таки добрались до вала. Расстроенный большим уроном, гарнизон уже очищал укрепление. Еще несколько минут — и карантин был бы взят. Но вдруг от Данненберга пришел приказ отступать.

В первый момент никто этому не поверил, так это показалось нелепым. Потом медленно стали отодвигаться.

Турки так были удивлены этим хитрым маневром, как они думали, что долго сидели неподвижно, готовясь к окончательной гибели и только гадая, откуда она придет. Когда же ясно и очевидно стало, что русские отступают, они выслали было своих улан в погоню, но те от первого же ядра по ним ускакали обратно.

Селенгинский и Якутский полки потеряли тогда по пятисот человек и больше половины всех находившихся в отряде офицеров, турки же, хотя потеряли и вдвое больше, — между прочим двух пашей, — могли торжествовать победу: это было первое сравнительно крупное их столкновение с русскими в Дунайскую кампанию; Данненберг, командовавший наступлением за три версты от фронта, в этом случае содействовал ослаблению престижа непобедимости русских войск.

И вот теперь, на Инкерманских высотах, ровно через год после Ольтеницкого дела, он стоял за дымовой завесой, надежно отделявшей его от наступающих, но знал, что наступают те же полки 11-й дивизии, тот же торопыга Павлов, тот же его бригадный Охтерлоне, и Сабашинский, и Бялый, только враг тут гораздо более

упорный и умелый, чем дунайские турки, и, значит, еще более доводов за то, чтобы скомандовать отступление.

Но неудача под Ольтеницей была с буйной радостью подхвачена английской и французской прессой того времени.

Это был первый и осязательный провал Николая, и печать не могла упустить случая поиздеваться над ним.

И хотя Горчаков послал в Петербург хвастливое донесение, будто он заставил турок выкупаться в Дунае, все-таки контраст между этим его донесением и голосом зарубежных газет был так велик, что его попросили сообщить все подробности дела.

Но, кроме прессы, были еще и руководители английской и французской армий, деятельно готовившие свои войска к интервенции в Россию, и может статься, что не будь неудачного Ольтеницкого боя, не было бы и Инкерманского побоища, решившего судьбу Севастополя.

В бесконечно длинной цепи исторических событий нет ничего «беззаконного», и какую бы массу счастливых или несчастных случайностей ни открыл в этих событиях поверхностно пробегающий по ним глаз, все эти случайности отнюдь не случайны, — они в неразрывной связи между собою.

Даже если хотят иные что-нибудь объяснить экстазом, мгновенным подъемом сил или, напротив, паникой, мгновенным падением их, то и для паники и для экстаза есть свои законы возникновения.

И даже сам Данненберг, проигравший сравнительно мелкое, только очень показное для того времени сражение и, будто по иронии истории, награжденный за это назначением руководить очень большим и очень значительным по своим задачам и последствиям боем, явился тут только необходимым козлом отпущения.

Меншиков более чем неприязненно его встретил. Меншиков был, несмотря на свой преклонный возраст, достаточно умен, чтобы не доверять ему ответственной роли, — и все-таки доверил... Почему же доверил?

Потому что николаевский режим не выдвигал и, по самой сути своей, не мог выдвигать талантливых людей. Это был режим для бездарностей, для тех, кто или от рождения не имел собственного

лица, или тщательно вытравил его серной кислотой длительной науки служить преуспевая и в три изумительных по своей лаконичности речения: «Слушаю!», «Так точно!» и «Никак нет!» — вложить все силы своего ума, как бы недюжинны ни были они от природы.

## VIII

Что не удалось Бурбаки с его тремя батальонами, то удалось Боске, который в одиннадцать часов явился на помощь англичанам с девятитысячным свежим отрядом.

Этот отряд, слившись с тем, что осталось после пятичасового боя от восемнадцати тысяч англичан, принес с собою живую энергию зуавов, меткость алжирских и венсенских стрелков, обилие патронов. Четыре эскадрона африканских конных егерей примчались вместе с этим отрядом и стали пока в резерве, чтобы в свой час довершить победу над полками дивизии Павлова, которые свелись уже к пяти — пяти с половиной тысячам усталых, частью даже и легко раненных и контуженных, но не покинувших строя людей.

Данненберг думал, что к нему подойдет дивизия Липранди из отряда Горчакова, стоявшего в полном бездействии и видного с Казачьей горы, когда относил дым ветром; но оттуда никто не двигался; не поднимались свежие полки и со стороны Инкерманского моста или Килен-балки.

Напротив, верховья Килен-балки все гуще заполнялись англичанами, непрерывно стрелявшими вниз по Углицкому полку, стоявшему в колоннах.

Шла еще ожесточенная схватка между охотцами, якутцами, селенгинцами и батальоном французов, но наметавшийся глаз Данненберга в этом скоплении англичан в Килен-балке видел уже сигнал к отступлению. А через несколько минут подобные сигналы стали чудиться ему везде кругом. И когда вдруг из облака дыма, отпрянувшего от только что бахнувшего рядом с ним орудия, вынырнула лошадиная голова, а за нею закруглилось сытое лицо адъютанта Меншикова, полковника Панаева, Данненберг почувствовал острую боль под ложечкой, точно был контужен.

— Это вы? Что? — спросил он с тревогой, думая, что Меншиков

извещает его об идущем на помощь резерве, который теперь уже не поможет.

— Его светлость спрашивает, в каком положении дело, — обратился к нему Панаев.

— Дело?..

Весь прокопченный дымом, так что даже серые усы его почернели, худощекий, с оторопью в воспаленных глазах, Данненберг закричал желчно:

— Скажите главнокомандующему, чтобы войска, войска мне еще прислал! У меня нет резервов!.. Даже прикрытия артиллерии нет!.. И все орудия подбиты! Можете полюбоваться!

Точно для доказательства как раз в это время на батарее, шагах в двадцати, взлетел взорванный неприятельским снарядом зарядный ящик.

Осколки долетели до того места, где стоял, верхом на лошади, Данненберг, и один из них ударил в ногу его лошади выше колена. Лошадь повела головой в сторону Панаева, застонала от боли и медленно повалилась на бок. Данненберг едва успел спрыгнуть с нее.

— Вот... Вы видите? — яростно кричал он Панаеву. — Это уж вторая сегодня. Прошу передать это князю!.. Мы не можем больше держаться и сейчас начнем отступать.

Но Панаев, еще когда взбирался на Казачью гору, видел, что отступление уже шло самотеком.

Не то чтобы здоровые окружали раненого и, пользуясь этим, уходили, как это наблюдалось им часа три назад, — нет, теперь спускались вниз уже целыми толпами, величиною со взвод и больше, и некому было остановить их...

Когда Панаев передал ответ Данненберга Меншикову, он увидел новое для себя, совсем исступленное лицо старика, которое даже не плясало от нервных конвульсий, как обычно, а будто окостенело.

— Этот Данненберг... — почти простонал, так же как раненная осколком гранаты лошадь, искаженный светлейший, — он... он погубил все!

И вдруг заверещал каким-то заячьим фальцетом, какого не приходилось тоже слышать у него Панаеву:

— Моим именем передай ему: не отступать, а наступать! Наступать он должен!.. Чтоб он забыл и думать об отступлении! Не Ольтеница ему тут, — нет! И я ему не Горчаков! Позови его ко мне сейчас же! — добавил он решительно, взглянув на стоявших в отдалении великих князей. — Пусть генералу Павлову передаст командование, а сам едет сюда! Я буду здесь!

Панаев поскакал поспешно, но за первым же поворотом разглядел, что Данненберг уже спускался с горы на ординарческой лошадке, а за ним тянулось на тормозах с кручи несколько орудий, окруженных солдатами, видимо пехотинцами: отступление началось, и возглавлял его сам командующий боем.

Великие князья к этому времени проголодались, и тот из их свиты, который должен был заботиться об их удобствах во время сражения, достал дорожную серебряную коробку с закусками. Однако, заметив такое легкомыслие, Меншиков подъехал к ним с озабоченным лицом.

— Ваши высочества, здесь вам нельзя уже больше оставаться, — сказал он, стараясь найти тон, средний между просьбой верноподданного и приказом главнокомандующего.

— А что?.. Что может быть? — спросили они его наперебой.

— Данненберг уступил поле сражения врагу и отступает! — пояснил Меншиков. — Вам нужно будет сейчас же вернуться в Севастополь, ваши высочества.

Коробка с закусками была спрятана, и кавалькада, нельзя сказать, чтобы очень удивленно или уныло, устремилась вниз, а Меншиков зло двинул коня в сторону Данненберга, увидя Панаева около этого генерала.

— Что вы делаете? Как вы смели это без моего приказанья? — закричал Меншиков, подъезжая. — Остановить!.. Сейчас же остановить!

— Как так остановить? — изумился больше, чем обиделся, Данненберг. — Здесь остановить?

— Здесь, здесь! Остановить сейчас же!

— Здесь нельзя остановить, что вы! Здесь можно только всех положить! — начал также кричать Данненберг. — Отчего вы не

прислали мне резерва?

— Я... вам... приказываю... остановите войска! — захлебываясь и так пронзительно закричал Меншиков, что Данненбергу оставалось только перейти на совершенно официальный тон.

Он отозвался, понизив голос:

— Ваша светлость! Если вы думаете, что теперь можно остановить войска и наступать, то примите сами командование над армией и делайте, что можете сделать...

Он махнул рукою, прощаясь с князем, оглянулся на артиллерию и направил лошадь к киленбалочной плотине.

Меншиков невольно посмотрел на Панаева, точно своего адъютанта призывал в свидетели того, что позволил себе сделать этот горчаковец.

Но в пяти шагах от него был и другой его адъютант, лейтенант Стеценко, а впереди над явно разбитым и растрепанным, в беспорядке, но плотными кучами отступающим каким-то полком рвалась злая картечь, вырывая новые десятки раненых и убитых.

— Рассыпать их!.. Кто их ведет так, какой дурак! — обернулся к Стеценко Меншиков. — Командующего полком ко мне!

Едва Стеценко успел ринуться к этому полку, как полковник Исаков, третий его адъютант, доложил обеспокоенно, что великие князья едут как раз на линию обороны, где рвется уже не картечь, а снаряд за снарядом из огромных осадных орудий. Кстати, и сын светлейшего, уже слегка контуженный в голову, едет тоже с ними.

— Скачи к ним, голубчик, скачи, как же можно! Ах, боже мой, целая орда ординарцев с ними, и все олухи! Поверни их, куда надо! — заторопился и сморщился, еле сидя на седле от волнения, Меншиков.

Все рухнуло как-то сразу, а еще утром казалось ему, что все обдуманно им, предусмотрено и сколочено хорошо, и Тотлебен укрепитя на правом фланге позиций интервентов так же, как укрепился Липранди у них в тылу, и тогда можно было бы написать царю, что успешно приводится в исполнение его план войны: выжимать союзников постепенно и действовать только наверняка. Что могло быть приятнее для царя? Сам сидит в Гатчине, но незримо и непогрешимо руководит войной, как гениальнейший из русских стратегов!.. И вот ничего не

вышло из этого плана.

Все рушилось... Рухнуло и падает вниз... Обвал людей в серых шинелях — людей, лошадей, пушек... Наверху еще идет стрельба, это, конечно, отстреливаются полки, поставленные в прикрытие артиллерии, но надолго ли их хватит? Устоят ли, пока все русские пушки прoderутся через узкое ущелье? Штуцерные пули звенят уже над головой и почти каждая там, ниже, находит свою жертву... Вот уже два больших снаряда, явно из осадных орудий, один за другим взорвались почти около утром наведенного моста...

Исполнительный лейтенант Стеценко возник около с каким-то пехотным штабс-капитаном, неумело сидящим на лошади, замухрышкой.

— Вы что? — воззрился на козыряющего истово штабс-капитана светлейший.

— Честь имею явиться, командующий Томским полком, штабс-капитан Сапрунов, ваша светлость! — неожиданно отчетливо продекламировал замухрышка, в то время как лошадь его фыркала и трясла головой.

— А-а, это тот самый полк, — кучей стоит, — вспомнил Меншиков. — Рассыпать его сейчас же!

— Рассыпать, ваша светлость? Куда прикажете рассыпать? — ничего не понял штабс-капитан Сапрунов.

— Рассыпьте, чтобы меньше нес потерь, — досадливо поморщился Меншиков.

— Если рассыпать, ваша светлость, то как же его собрать потом? — удивился Сапрунов. — Ведь люди приучены так стоять — в колоннах.

— Старше вас неужели нет никого в полку? — повысил голос Меншиков.

— Никак нет, я остался старший в чине, остальные все перебиты.

— Кто же командует ротами, если вы — полком?

— В пяти ротах совсем нет ни офицеров, ни юнкеров, ваша светлость. Прикажете унтер-офицеров поставить в ротные?

Сделать унтеров ротными командирами — это не укладывалось в сознании Меншикова, но он слабо махнул рукой в сторону штабс-капитана, чтобы ехал к полку, и сказал, отвернувшись:

— Поставьте...

Но вот неожиданно увидел он шагов за двести от себя кого-то очень знакомого верхом.

— Это не Тотлебен ли, посмотрите! — крикнул он Стеценко, указывая рукой.

— Полковник Тотлебен, так точно, — тут же ответил Стеценко, привыкший уже к сухопутному строю службы и ответов начальству.

Тотлебен, — видно было, — деятельно устанавливал на киленбалочной площадке разрозненные полки пехоты; там даже старательно равнялись по жалонерам с красными флажками на штыках.

— Ведь вот же делает человек именно то самое, что и надо! — обрадованно обратился к Стеценко Меншиков, мгновенно забыв, что только что сам приказал замухрышке штабс-капитану рассыпать заботливо собранный им полк.

Помахав хлыстиком перед правым глазом коня, затрусил он к Тотлебену.

Этот флегматичный с виду инженер-полковник, которого месяца два назад до того недоброжелательно встретил светлейший, что хотел даже отправить обратно в Кишинев к Горчакову 2-му, своей неутомимой деловитостью нравился ему все больше и больше. К тому же он был, когда не при деле, достаточно остроумен и весел, что тоже ценил Меншиков в людях. Теперь же, среди общей разбросанности, растерянности, разбитости, казалось так, только он один и мог как-нибудь наладить все и привести хоть сколько-нибудь в порядок.

— Ну, вот это хорошо, голубчик, что хоть вы здесь, очень хорошо, — говорил он, по-стариковски горбясь на седле, Тотлебену. — А Данненберг сбежал! От него не ждите приказаний: сбежал!.. Нет-с, он у меня здесь больше не будет, нет-с! Я не хочу его терпеть около себя и одного дня-с! — удивляя Тотлебена, кричал он, яростно выкатывая глаза из дряблых зеленовато-желтых мешков.

Между тем совершенно некогда было слушать вышедшего из себя главнокомандующего, — нужно было действовать: дорога была буквально каждая секунда.

Кусты наверху на кручах уже зацвели красными цветами зуавских фесок; батареи легких орудий поспешно ставились по отрогам, чтобы

обстреливать отступающих; владимирцы, поставленные Данненбергом на Казачьей горе прикрывать отход орудий, потеряли уже раненым в руку своего командира полка, барона Дельвига, племянника поэта, и пятились под напором алжирских стрелков Боске. Штуцерные пули пели все чаще; валились, вскрикивая, люди.

Построив в ротные колонны толпы солдат, Тотлебен рассыпал одну роту в цепь отстреливаться от зуавов, другую роту послал помогать спускать на руках орудия; отправил лейтенанта Скарятинна к контр-адмиралу Истомину, чтобы прислал матросов на помощь артиллеристам...

Меншиков одобрительно кивал головой на всякое распоряжение Тотлебена, а когда полковник Панаев сказал ему: «Ваша светлость, здесь небезопасно стоять от пуль!» — он сразу же согласился и с этим и повернул лошадь, сказав на прощанье Тотлебену:

— Я на вас надеюсь, как на самого себя.

Только подъезжая к киленбалочной плотине, он вспомнил о генерале Тимофееве и сказал Панаеву:

— Что же Тимофеев? Как удалась ему вылазка, и жив ли остался? Надо бы узнать...

Панаев тут же направился к шестому бастиону, а светлейший, заметив издали генерала Кирьякова, не менее ненавистного ему, чем с нынешнего дня стал ненавистен Данненберг, постарался объехать его стороною, хотя он делал то же самое, что делал на середине подъема Тотлебен: собирал и строил полки своей разгромленной дивизии, бывшие под начальством Соймонова и Жабокритского, — Бородинский и Тарутинский, которые отступали со стороны каменоломен. Третий полк его — Бутырский — прикрывал ретираду дивизии Павлова, но толпы солдат-бутырцев оказались и здесь, внизу, около перевязочного пункта: они деятельно сопровождали раненых, и на них кричал знаменитым своим тенором Кирьяков.

С «Херсонеса» и «Владимира» летели, визжа, снаряды туда, где зуавы Боске устанавливали свои батареи.

На киленбалочной плотине, устроенной незадолго перед войной как часть Саперной дороги, стояла такая глубокая вязкая грязь, что не только орудия застревали в ней, даже и люди с трудом вытаскивали

ноги, а иные теряли в ней сапоги.

Меншиков, пробираясь по ней, желчно бросил ехавшему на шаг сзади его Исакову:

— Вот мерзавцы, а! Видишь, как они строили дорогу? Не смогли замостить как следует... Камня кругом прохвостам было мало.

Исаков согласился, конечно, что строили дорогу прохвосты, но мог бы заметить, так как отлично знал это, что на дорогу светлейший сам всячески старался не отпускать денег, находя ее совершенно лишней, и, когда ее бросили делать, наконец, не докончив, сказал облегченно:

— Слава богу, отсосались казнокрады!.. Любопытен я знать, какой они еще преподнесут мне проектец!

Казнокрады эти были из инженерного ведомства, но Меншиков не мог не знать за свою долгую, почти полувековую службу, что казнокрадов сколько угодно и во всех других ведомствах и что, если отнять у них возможность красть на необходимых работах, прекращая эти работы, они будут искать способы красть и на безработице, и в конечном счете потеряет государство на бездействии и застое несравненно больше, чем на самом лихом казнокрадстве.

## IX

Корреспондент лондонской газеты «Морнинг кроникл» писал как очевидец об отступлении русской армии так:

«Судьба сражения еще колебалась, когда прибывшие к нам французы атаковали левый фланг неприятеля. С этой минуты русские не могли уже надеяться на успех, но, несмотря на это, в их рядах незаметно было ни малейшего колебания и беспорядка. Поражаемые огнем нашей артиллерии, они смыкали ряды свои и храбро отражали все атаки союзников, напиравших на них с фронта и фланга. Минут по пяти длилась иногда страшная схватка, в которой солдаты дрались то штыками, то прикладами. Нельзя поверить, не бывши очевидцем, что есть на свете войска, умеющие отступать так блистательно, как русские.

Преследуемые всею союзною полевой артиллерией, батальоны их отходили медленно, поминутно смыкая ряды и по временам бросаясь в штыки на союзников. Это отступление русских Гомер сравнил бы с

отступлением льва, когда, окруженный охотниками, он отходит шаг за шагом, потрясая гривой, обращает гордое чело к врагам своим и потом снова продолжает путь, истекая кровью от многих ран, ему нанесенных, но непоколебимо мужественный, непобежденный».

Очевидец, кто бы он ни был, не мог, конечно, видеть всего поля сражения, как не мог видеть его любой из командующих боем.

Это мнение могло сложиться у него несколько позже, когда к своим личным впечатлениям мог он прибавить наблюдения других и сделать общий вывод.

Но о том, что русские полки, сбитые с английской позиции благодаря превосходству оружия и сил интервентов, не оставили в руках у них не только ни одного из шестидесяти четырех введенных в дело орудий, но даже ни одного зарядного ящика, ни одной простой повозки с целыми колесами, — об этом говорят многие очевидцы с обеих сторон.

Кому же приписать честь этого отступления, о котором восторженно отзываются даже враги?

Данненбергу ли, который уехал в Севастополь в самом начале этого отступления, или Меншикову, который уехал на час позже, — в то время как войска отступали до полной темноты, до восьми часов вечера, — или Тотлебену, который пробыл на месте почти до конца?

Тотлебен сделал, конечно, много, — гораздо больше, чем кто-либо другой из начальствующих лиц, — чтобы отступление велось в порядке и с меньшим количеством потерь. Он добился того, чтобы спустившиеся уже до половины дороги вниз роты Углицкого полка и батальоны Бутырского в большем порядке, чем они могли бы это сделать сами, отразили нападающих зуавов; он даже остановил полубатарею из четырех легких орудий и заставил ее вести перестрелку с легкой батареей союзников; посланный им к Истомину лейтенант Скарятин привел матросов, и дюжие, привыкшие обращаться с пушками матросы действительно много помогли артиллеристам, на своих руках спуская орудия, потерявшие упряжки в бою; он даже посылал на пароходы «Херсонес» и «Владимир», чтобы усилили огонь, и эта мера оказала свое действие и значительно охладила пыл французов...

Но все-таки настоящим и подлинным героем отступления, как и героем боя, проигранного неспособными и неспевшимися русскими генералами, оказался русский солдат.

Солдаты полков 10-й и 11-й дивизий, только что прибывшие из далекой Бессарабии, которая рядом с чужою Молдаво-Валахией, знали и понимали, что вызваны они защищать родину, а не воевать с турком на его земле; и еще, что очень крепко знали они о себе, это то, что они непобедимы.

Легенды ли, песни ли, предания ли, которые передаются от старых солдат молодым из поколения в поколение, внушили им веру в свою непобедимость, или это был просто приказ начальства: «Заучи наизусть, что ты непобедим, и знай это по гроб жизни, а то шкуру спущу!»

Могло быть и то, и другое, и третье, но главное все-таки — такую уверенность солдатской голове давали ноги, которые вышагивали в походах маршруты в тысячи верст, пока приходили к границам русской земли.

Ведь солдаты русские были сами люди деревни; они знали, что такое земля, с кем бы ни довелось за нее драться, и без особых объяснений ротных командиров могли понять, что такую уйму земли, как в России, могли добыть с бою только войска, которые непобедимы.

География учила их истории и вере в себя, и на Инкерманские высоты поднялись они как хозяева, выгнать непрошенных гостей.

Гостей этих они не выгнали, правда, гости остались, но остались на весьма долгий срок, что совсем не входило в их расчеты.

Интервенты хотели покончить с Севастополем до наступления зимы, чтобы зиму провести под крышами, если русские тут же после взятия Севастополя не согласятся на мир.

У них все уже было подготовлено к штурму двух соседних бастионов: англичане должны были штурмовать третий, французы — четвертый, и была полная уверенность в успехе, тем более что со дня на день ждали они подкреплений войсками, орудиями, снарядами, патронами, порохом, зимней одеждой и прочим.

Укрепившись после Балаклавского дела на кадыккойских позициях и сделав почти неприступной Сапун-гору против Федюхиных высот, они

считали обеспеченным свой тыл, если только не кинется на Балаклаву сразу вся армия Меншикова, но и на этот случай они приняли ряд необходимых мер.

О прибытии к Меншикову 4-го корпуса осведомлены были Канробер и Раглан, но они не думали, что русский солдат выкажет такое нечеловеческое упорство в бою с противником, вооруженным гораздо лучше его, и нанесет ему такие страшные потери, после которых нельзя уже было и думать о штурме.

«В Инкерманской битве, — писала тогда «Таймс», — нет ничего для нас радостного. Мы ни на шаг не подвинулись к Севастополю, между тем потерпели страшный урон». Урон же интервентов, особенно англичан, был так велик, что Раглан несколькими последовательными депешами подготавливал общественное мнение Англии к ошеломляющей цифре этого урона и все-таки, по общему мнению корреспондентов газет, так и не рискнул назвать эту цифру.

Опасаясь волнений на бирже и падения ценных бумаг, значительно урезал список потерь французов Наполеон III. Напротив, чтобы поднять настроение в Париже, он приказал палить из пушек с Дома инвалидов, что делалось только в случаях большой победы французского оружия. Между прочим, при церкви Дома инвалидов погребен был прах трех величайших французских полководцев: Тюрення, Наполеона и... Сент-Арно!.. Так торопился маленький племянник великого дяди сравняться по части великих побед с эпохой Наполеона.

Конечно, братец его, граф Морни, делал хорошие дела на парижской бирже под победный, — и уже не выдуманный, — гром пушек с Инвалидного дома, а императрица Евгения приготавливала все для балов и процессий.

Но это было значительно позже, а вечером в день Инкерманского боя Раглан с Канробером обсуждали начерно вопрос о том, не лучше ли будет как можно скорее снять осаду, так как еще одна такая победа над русскими, и некому будет стоять около осадной артиллерии англичан, а следующая подобная победа обнажит позицию французов. Официальные потери интервентов были показаны вдвое меньшими сравнительно с русскими потерями (в круглых цифрах: четыре с

половиной тысячи против девяти), но список потерь офицеров и генералов нельзя было подчистить, — лица командного состава были на виду и на счету, — и если в русских войсках выбыло в этот день, считая и отряд генерала Тимофеева, двести восемьдесят девять офицеров и шесть генералов, то и у союзников вышло из строя двести шестьдесят три офицера и одиннадцать генералов, причем у англичан немногим больше, чем у французов.

И если Раглану казалось, что в сражении на Алме он в офицерском составе понес большие потери, чем Веллингтон при Ватерлоо, то после Инкермана ему уже приходилось не вспоминать Ватерлоо.

Кроме того, в полках интервентов слишком велика была смертность среди раненных в штыковом бою, в то время как в списки русских потерь попало очень много легко раненных, скоро вернувшихся в строй.

При русской армии тогда не было корреспондентов газет, и некому было давать живые и правдивые картины этого исключительного по упорству сражавшихся боя.

В дыму пороховом и в тумане, в оврагах и в тесноте редутов, отнюдь даже не на глазах своего начальства, выбитого меткими пулями снайперов в самом начале боя, врукопашную, безвестно и героически бился и побеждал или погибал русский солдат, очертя голову наступая и гоня перед собою лучших по тому времени солдат Европы.

И из всех героев в серых шинелях только об одном в дошедших до нас воспоминаниях сохранилось смутное указание, что он, уже при отступлении, несколько раз ходил под штуцерным и картечным огнем в овраги каменоломни за своими ранеными товарищами и притаскивал оттуда каждый раз по два и даже по три человека.

Но имя и этого героя все-таки не сохранилось для потомства.

Все тяжело раненные в этом бою, как и на Алме, остались как пленные у англичан, зато англичане и всех своих убитых имели у себя под рукою, им не пришлось уже теперь посылать парламентариев в русский стан, как это было после кавалерийского Балаклавского дела. Тогда благовоспитанные английские джентльмены-офицеры в числе трех человек явились под белым флагом к генералу Липранди и, — может быть, они вспомнили сцену из «Илиады», как Приам привез

Ахиллу кучу драгоценностей для выкупа тела своего сына Гектора, или были просто осведомлены, что в России ничего вообще не добьешься без приличной взятки, — они с первых же слов предложили Липранди денег за то, чтобы разрешил он взять с поля сражения трупы убитых английских офицеров бригады лорда Кардигана.

Конечно, это были трупы молодых представителей английской знати; они имели большую цену и для своих богатых семейств и для их великосветских родственников и хороших знакомых, но русский дикарь-генерал этого не понял. Он даже как будто оскорбился предложением денег. Он ответил высокомерно:

— Я мертвецами не торгую! — и отошел.

Он ни о чем больше не хотел разговаривать с английскими джентльменами, и хотя разрешил, конечно, забрать трупы, но мотивировал это разрешение целями чисто санитарными, и о невежестве этого русского дикаря-генерала долго и язвительно писали потом не только английские, но и французские газеты, называя его, впрочем, для пущего эффекта князем Горчаковым.

Трупы английской знати и здесь, на Инкерманском плато, были тщательно собраны еще до восхода луны. Но у многих английских солдат, большей частью ирландцев, были жены, жившие на задворках лагеря в палатках. Для начальства трупы этих солдат какую же могли иметь цену, если даже и живым солдатам за их военную работу цена была всего один шиллинг в день? Но ко многим женам не вернулись в этот злой день их мужья-солдаты, и вот, при луне, среди гор трупов, лежащих повсюду: около редутов, возле лагеря, в оврагах, на взлобьях холмов, в кустах, бродили женщины, поворачивая бледные лица убитых к луне, надеясь узнать и боясь узнать в них своих мужей, причитая и плача.

Так когда-то, после битвы при Гастинге, Эдифь — Лебединая шея, воспетая Генрихом Гейне, — искала труп короля саксов Гаральда не потому, что он был король, а потому, что задолго до своей смерти он был ее «незаконным» мужем.

Глава пятая. Победенный главнокомандующий

# I

Прожить долгую и богатую впечатлениями жизнь, занимать все время видные и высшие посты в государстве, добыть себе славу умнейшего и остроумнейшего человека, пользоваться прочной дружбой самого царя, быть одною из «двух голов, на которых покоились честь России и ее достоинство», и потерпеть поражение в то время, когда все обещало полный успех, притом не без досадных свидетелей, как на Алме, а напротив, в присутствии великих князей, то есть все равно почти что самого Николая, — это очень тяжело отразилось на Меншикове, это встряхнуло весь его крепкий еще, хотя и старый, организм, как внезапная и жестокая болезнь.

Когда он вернулся в Севастополь, он только справился, благополучно ли доехали великие князья и его сын, а сам не мог успокоиться, не переговорив до конца с Данненбергом, которого считал виновником катастрофы этого дня.

Он разослал своих адъютантов искать его, и Панаеву посчастливилось встретить его около тюрьмы.

Когда Данненберг услышал, что его хочет видеть Меншиков, то сказал устало и равнодушно:

— Хорошо, передайте князю, что я к нему не поеду, — не поеду, нет! Но если ему все-таки захочется продолжать говорить со мною в том тоне, в каком он это начал было, то я... я могу подождать его здесь.

И он слез с лошади и уселся на куче камней, оставшейся здесь от разбитого бомбардировкой дома.

Панаев, конечно, не передал этого так, как было сказано, и Меншиков не замедлил приехать к командиру 4-го корпуса. Два старых «полных» генерала, всего за несколько дней перед тем впервые увидевшие друг друга, встретились, как смертельные враги.

Данненберг, конечно, поднялся с камней, когда подъехал главнокомандующий, и стал по-строевому. Он приготовил было оправдательную фразу, ссылку на свою слабость и полную неспособность двигаться куда-нибудь теперь, но Меншиков обратился к нему не с тем.

— Что вы сделали, а?.. Что-о такое вы сделали? — задыхаясь от

прилива душившей его ярости и разевая шире, чем нужно, наполовину беззубый рот, прокричал он.

— Я сделал все, что мог, ваша светлость, чтобы исправить ошибку Соймонова, — с виду спокойно и даже с достоинством ответил Данненберг.

— Какую ошибку, какую?.. Ошибка Соймонова!.. На мертвых, на мертвых валите?

— Разве Соймонов умер уже? — устало удивился Данненберг. — Этого обстоятельства я не знал... Но суть дела состоит в том, что покойный Соймонов пошел со своей колонной не по моей диспозиции.

— Не по вашей, а по моей, вы хотите сказать?

— Нет, также и не по вашей... Едва ли даже и по своей собственной... Но, может статься, тут был виноват проводник, которому он доверился по незнанию местности в ночное время...

— Проводник? Так, стало быть, во всем виноват проводник?

— Это мое соображение, ваша светлость, на основании того, что мне известен... был генерал Соймонов с лучшей стороны, и я отрицаю в этом несчастном случае его личную злую волю.

— По какой же дороге пошел Соймонов? — догадываясь уже, но боясь догадаться, понизил голос Меншиков.

— По той самой, по которой должен был вести свою колонну генерал Павлов... Так что никакого охвата противника не получилось, почему и победы быть не могло.

Канонада еще гремела и там, на горе, откуда сорвалось столько разбитых русских полков, и здесь, вдоль линии бастионов; но гораздо оглушительнее ее показалось Меншикову то, что он услышал о Соймонове, которого из трех новых для него генералов 4-го корпуса счел за наиболее надежного. Он молчал, изумленно подняв седые пучки бровей, а Данненберг продолжал:

— Так же точно мне неизвестно, состоялась ли означенная в диспозиции вашей вылазка генерала Тимофеева...

— Состоялась, — подтвердил только что сам узнавший об этом светлейший. — Вылазка Тимофеева состоялась и как будто бы достигла мною намеченной цели... Но Соймонов... как же мог не понять Соймонов, что он идет совсем не туда, куда надо было?..

Однако, — вдруг вышел он из оцепенения, — вы должны были тут же исправить ошибку Соймонова, когда приняли командование, — вот что вы должны были сделать!

— Я принял командование над обеими колоннами только около восьми часов, а к этому времени уже не было в целости трех полков дивизии генерала Соймонова, также и самого Соймонова, ваша светлость. И под напором противника невозможно уж было ничего поправить.

— Не в восемь, а в шесть часов! В шесть, а не в восемь вы обязаны были принять командование! — снова резко крикнул Меншиков.

— В шесть? — поднял было и сорвал голос Данненберг. — Если в шесть, то нужно было заблаговременно озаботиться, чтобы мост был готов к переправе отряда и почти ста орудий при отряде! Однако мост и к семи часам готов не был... Я же сделал все, что мог сделать, чтобы успеть вовремя.

— Нет, вы не сделали! Вы ничего не сделали! — упрямо повторил Меншиков, хотя в голову его и било, как молотом, это круглое слово: Соймонов... Соймонов... Соймонов...

— Я мог бы сделать еще кое-что, — оскорбленно прошипел вдруг обезголосивший Данненберг, — а именно: послать за двенадцатой дивизией, бесполезно торчавшей... торчавшей там... на левом фланге... но она была не под моей командой, а князя Горчакова!

Эта шипуче сказанная фамилия совершенно вздернула светлейшего. Он понимал, конечно, что Данненберг обвиняет — хочет обвинить — его самого в том же именно, в чем виноват сам: в неуменье распорядиться отдельно расставленными отрядами.

— Князь Горчаков выполнил то, что было ему предписано выполнить моей диспозицией! — прокричал Меншиков. — О князе Горчакове я не хочу слышать ни слова больше.

— Сожалею, что не могу, — показал на свою шею Данненберг, — ответить вам также криком, поэтому прошу на меня не кричать.

И он потянулся к поводьям своей ординарческой лошадки с явным намерением сесть на нее и уехать.

— Вы у меня не будете больше в армии, нет, — решительно, но более сдержанно сказал Меншиков, поворачивая донца.

— Об этом я сожалеть не стану, — отозвался довольно внятно

Данненберг.

— Можете считать себя отставленным от командования четвертым корпусом!

Данненберг ничего не сказал на это, да и не мог успеть сказать, так как Меншиков ударил донца плеткой, и тот от не привычки к такому слишком сильному жесту со стороны своего старого хозяина бросился в сторону со всех четырех ног сразу и поскакал.

Лейтенант Стеценко, из приличия в отдалении вместе с Панаевым наблюдавший эту сцену и расслышавший всего несколько слов из меншиковского крика, припоминал, каким был светлейший после боя на Алме, и все пытался решить про себя: действительно ли такое огромное и могучее государство, как Россия, в такой серьезный и ответственный момент своей жизни не могло найти на пост главнокомандующего никого другого, кроме этого старика.

А Меншиков, услышав от Данненберга о другом виновнике поражения — Соймонове, поехал не в свою караулку на Северной, штаб-квартиру главнокомандующего, а снова туда, в толчею и неразбериху отступления.

Он вспомнил, что поручик, адъютант генерала Павлова, докладывал ему, что Соймонов опасно ранен, только ранен, а не убит. Может быть, жив еще, а может быть, и вообще выживет, — и только его личная, сильно забежавшая вперед мысль, ошеломленная разразившейся катастрофой, сгустила здесь просто краски.

Уже смеркалось, — осенний день невелик, — когда лейтенант Стеценко, по приказанию светлейшего добравшись до перевязочного пункта в Ушаковой балке, узнал там от врачей, что Соймонов в безнадежном состоянии от пулевой раны в живот навывлет и уже отправлен в Севастополь.

Меншиков покачал головой, услышав, что поспешившая мысль его на этот раз почти не ошиблась, и отупело принялся наблюдать, как идет отступление.

Полевая артиллерия теперь уже вся спустилась вниз, но легкая еще отстреливалась кое-где на удобных местах по откосам, прикрывая сползающие серые и бесформенные обрывки, клочья пехоты, которую привык видеть глаз в стройных и плотных, послушных команде

колоннах.

С Сапун-горы неприятельская артиллерия еще била по плотине, сплошь покрытой солдатами и повозками, увеличивая число раненых, которых и без того скопилось великое множество как раз около плотины, так как перевязочные пункты не могли обслужить и десятой их доли. Они жалобно вопили, чтобы их не бросали здесь, а вывезли к своим.

Была возня с обозом фурштатов, которые на полуфурках везли туры и фашины, теперь уже совершенно ненужные. Это было казенное имущество, за целость которого они отвечали, и они не хотели слушать приказаний пехотных офицеров, требовавших выкинуть фашины и грузить раненых. Фурштаты старались всячески проскочить на мост, и только адъютанты главнокомандующего кое-как с ними сладили, и то обнажив свои сабли для внушения им гуманных чувств. Убедившись, что Тотлебен все еще хлопочет о порядке отступления и пока не ранен, Меншиков медленно поехал, наконец, снова на Северную.

Те диспозиции Соймонова и Павлова, которых он ждал накануне ночью, теперь лежали у него на столе, в караулке, вместе с письмом от Горчакова 2-го, в котором он запоздало предупреждал Меншикова, чтобы не поручать Данненбергу ответственных боевых дел.

Лейтенант Стеценко был командирован навестить раненых по госпиталям, домам и сараям, которые были заранее намечены для этой цели. Поручение это заняло все время до поздней ночи. Он видел такую массу изувеченных человеческих тел, то стонущих, то безмолвных уже, что у него мутилось в голове и глазах.

Он видел, что и здания и сараи, в которых было приготовлено хоть что-нибудь для приема раненых, намечены были без всякого расчета, что они далеко не достаточны, что раненые лежат в них вповалку, и всё приносят новых и новых», которых совершенно некуда девать, не говоря уже о том, что некому перевязывать и даже нечем. Им едва успевали подносить ведра с водой и кружки. Пили они много и жадно, как будто возмещая водою потерянную кровь. Иные перевязывали себе раны сами, зубами раздирая для этого на тряпки свои же рубахи. Много раненых умирало; их укладывали на казенные фуры, как

поленницы дров, и везли к пристани, чтобы на барках переправить на Северную, на кладбище.

Но чем еще более поражен был Стеценко, это тем, что он увидел в сарае, в котором размещено было до пятнадцати раненых пленных французов, захваченных неизвестно зачем минцами.

Среди них были и тяжело раненные, но даже и они чувствовали себя, видимо, превосходно, потому что весело смеялись один над другим. Один, с разбитыми ядром ногами, даже представлял в лицах, как будет огорчен его сапожник в Париже, когда увидит его совсем без ног.

Стеценко никак не мог понять, что это такое: позировка ли, прославленная ли галльская веселость, проявляемая во всех обстоятельствах жизни, или это влияние свободного строя жизни, способного, может быть, переделывать и самую психику людей?

Но раненые, узнав, что он послан самим Меншиковым, оживленно подымались со своих коек и просили его передать князю, что они очень признательны ему за то участие, какое к ним проявили.

Вернулся Стеценко поздно. Перебравшись на Северную, он разглядел недалеко от берега черневшую в сырой мгле одинокую и показавшуюся снизу очень высокой фигуру.

Проезжая мимо, он еще только думал, кто это может быть, и вдруг его окликнул знакомый голос:

— Лейтенант Стеценко?

— Я, ваша светлость! — остановил он коня.

— Ну что, как раненые? Подобрали их всех?

— Подобрали и привезли очень много, но им очень нехорошо: тесно, врачебной помощи нет...

— Что делать... Завтра как-нибудь их устроим... В двадцать восьмом году было еще хуже... Плохо, да... это все результат того, что Соймонов напутал, бог ему судья за это... Ну, поезжай спать.

Стеценко отъехал, но, оглянувшись назад, разглядел, что светлейший по-прежнему стоит неподвижно на том же месте, повернувшись в сторону Сапун-горы.

Стеценко сильно утомился за этот тревожный день, полный наступающих, отступающих, близкого грохота пушек, коварного пенья

пуль, тумана и дыма, раненых и убитых, которых перевозили несколько сот казенных длинных, в темно-зеленое выкрашенных, добротных фур.

Но он знал, что и старый главнокомандующий провел этот день так же точно, как и он, все время на коне, и едва ли спокоен был в ночь перед боем под гнетом великой ответственности, которую нес. Однако вот теперь он стоит совершенно одиноко в темноте и о чем-то думает, но не ложится спать.

О чем же именно думает?.. Заговорил почему-то о Соймонове, который напутал... Днем, как коршун, налетел на Данненберга и кричал пронзительно... Ищет виновников страшной неудачи?

Стеценко не знал, хорош или плох был тот план, который придумал светлейший, но понимал, конечно, что все кругом — и прежде всего сам автор этого плана — считали бы его бесподобным, если бы наступление окончилось победой, и он триумфально вошел бы в историю войн.

Теперь же, конечно, трудно было решить не только ему, но, может быть, даже и самому Меншикову, план ли был плох, или плохи те, кто должны были его выполнить и не сумели.

В инженерном домике, окруженном караулом, было уже темно: царские сыновья знали, что заработали себе георгиевские кресты тем, что простояли несколько часов вблизи боя в укрытом месте, и уснули героями.

В конюшне, к которой подъехал Стеценко, какая-то дружественная его коню лошадь заржала приветственно. В палатке, где помещались адъютанты светлейшего, было тихо: все лежали по своим углам, может быть и не спали еще, но говорить уже никому и ни о чем больше не хотелось.

## II

Рано утром, когда великие князья еще спали, Меншиков взял только двух из своих адъютантов — Панаева и Стеценко, поехал в Чоргун к Горчакову. Он не сказал им, зачем туда едет, но Стеценко догадывался, что он продолжает искать виновников поражения на Инкермане и думает отыскать их там.

По дороге он заезжал в два-три дома, где положили раненых, видел сам, что многие еще не перевязаны врачами, качал головой и уходил поспешно, бормоча при этом:

— Вот же не присылают лекарей, а я писал ведь! Откуда же я их тут возьму?

Стеценко счел удобным сказать:

— Ваша светлость, на перевязочном пункте, где я был вчера, лекарей я видел, но я не видел там ни одного стола для операций и даже ни одного стула или табурета, чтобы посадить раненого...

Он остановился было, не отзовется ли как-нибудь на это светлейший, но тот молчал; не сказал даже, что в 28-м году было еще хуже; поэтому решил договорить он:

— Приспособили туры и фашины, какие брошены были с полуфурков, вместо столов и стульев, а то не на чем было бы и ампутаций делать.

Светлейший посмотрел на него невнимательно и даже как будто досадливо, но промолчал и тут: мысли его были в Чоргуне и не с ранеными солдатами, которых, кстати сказать, там и не могло быть, а со здоровыми пока еще, хотя и старыми генералами.

Огромнейшие табуны лошадей паслись под присмотром драгун и гусар около Чоргуна. Травы уже не было, — старая сгорела от солнца, молодую или вытоптали, или выщипали с корнями и землей; объедали дубовые кусты.

— Вот полюбуйтесь! — желчно обратился Меншиков к своим адъютантам. — Шестьдесят эскадронов такой чудесной кавалерии, — и не пустили в дело! Зачем же она в таком случае? Только сено есть? Одних только драгун сорок эскадронов, — и простояли, как на обедне! Теперь уже настала очередь вежливо промолчать как Стеценко, так и Панаеву, потому что каждый из них мог бы спросить светлейшего: «Почему же вы, ваша светлость, не послали туда, к Чоргунскому отряду, с любым из нас приказа о наступлении?»

Несколько приплюснутое, как будто приклепнутое утюгом, калмыковатое лицо Горчакова 1-го обеспокоенно задергалось, когда он издали увидел подъезжающего Меншикова.

Он сидел в это время за утренним чаем на крыльце того самого домишка, в котором провел перед сражением несколько дней и

светлейший. Он засуетился, чтобы подогрели самовар и подали все стаканы, какие имелись, а сам вышел навстречу главнокомандующему, недоумевая, зачем именно он приехал, но предполагая, что не с добром.

Однако светлейший постарался принять, здороваясь с ним и принимая его рапорт о благополучии, вполне приветливый вид. Он не отказался и от стакана чаю с ромом, напротив, ему, видимо, хотелось чем-нибудь подкрепить себя, хотя бы чаем.

Разговор, конечно, сразу же начался о проигранном сражении и больших потерях, но Стеценко видел, что князь Меншиков с князем Горчаковым говорит совсем иначе, чем с Данненбергом, что для князя Меншикова князь Горчаков прежде всего человек одного круга, а затем давно уже ему лично известный, притом же брат его товарища юности, снабжающего его теперь и войсками, и сухарями, и порохом, и советами, как надо защищать Севастополь.

Меншиков, разумеется, и не повышал голоса в разговоре. Однако он спросил все-таки Горчакова, неужели так и не было никакой возможности нажать с его стороны на Сапун-гору, чтобы оттянуть на себя корпус Боске, решивший сражение в пользу союзников.

— Была бы только большая прибавка урону, а пользы не было бы ведь никакой, — развел руками Горчаков.

— Прибавка урону! — повторил с горечью Меншиков. — Когда лес рубят, то щепки должны лететь, это закон... Но урону будет гораздо больше, если союзники зимовать у нас останутся, — го-раз-до больше! Тогда ведь и болезни разовьются всякие: тифус, горячка, — может быть, и холера даже, чего, разумеется, боже сохрани!.. Ведь у нас каждый день бомбардировки большой гораздо урон дают, чем у них. У нас пехота придвинута к бастионам, потому что мы штурма ждем каждый день, а у них пехота может быть хотя бы за две версты: они не ждут штурма... Нам же не придвигать пехоты своей нельзя, потому что переметчики сразу выдадут нас, если не придвинем...

— Я диверсии делал в сторону позиций генерала Боске, но я ведь был в лощине, а он на горе! Он мог бы, прах его побери, не то что роты все мои пересчитать, а даже и всех солдат в отдельности. Вот и вышло бы, — пока поднялись бы, скажем, два моих батальона, против них уж

стояли бы четыре французских, если не восемь... А рискни я всю дивизию двинуть — пять тысяч турок да три тысячи французов от Кадык-Коя могли бы зайти мне в тыл... А пустить одну конницу без пехоты, — ведь это же было бы на явную погибель ее пустить!

Говоря это, тощий и узкий Горчаков делал длиннейшими руками такие широкие жесты, что оба адъютанта Меншикова, сидевшие за соседним небольшим столиком около самовара, старались ближе к себе держать свои стаканы.

— Я очень надеялся и ждал, очень ждал, что, может быть, понадобится Данненбергу моя кавалерия, — продолжал Горчаков. — Она стояла у меня вся наготове скакать туда к нему, но успеха, прах его побери, не последовало, и, следственно, кавалерия не понадобилась... Я приготовил даже два полка, два хороших семьякинских полка — Азовский и Днепровский, — на случай, ежели бы потребовал у меня помощи Данненберг, но ведь не явился никто ко мне за помощью, а я ждал!

Стеценко, слушая Горчакова, находил, что он, пожалуй, прав во всем, что говорит, и обвинять его в бездействии совсем напрасно. Ему казалось даже, что и светлейший согласен с ним, потому что молчит и смотрит как-то почти невидяще, очевидно думая совсем о другом.

В это время к домику подошел адъютант Горчакова, капитан Струнников, который был послан им, когда союзники вызывали парламентаря, чтобы договориться о погребении убитых.

Капитан этот делал свой доклад самому Меншикову, то и дело вставляя те французские фразы, какие он слышал от парламентарей-союзников. По его словам выходило, что интервенты в отчаянии от того огромного вреда и от тех потерь, какие причинила им вылазка русских.

Что касается «огромного вреда» и «больших потерь», а также «отчаяния» интервентов, это Меншиков принял с едва заметной скептической усмешкой, но слово «вылазка» (*la sortie*) ему явно понравилось.

— Ну, конечно, это и была простая вылазка осажденного гарнизона, — проговорил он, обращаясь к Горчакову. — Я ведь и сам буквально так называл это, как вы сами от меня слышали, Петр Дмитриевич.

Горчаков поспешил подтвердить это, а когда капитан, получив необходимые приказы касательно уборки убитых, ушел, Меншиков отвел Горчакова в сторону и заговорил с ним о том, ради чего приехал.

Это был план нового наступления (или вылазки), причем к 12-й дивизии и шестидесяти эскадронам кавалерии Меншиков обещал дать в распоряжение Горчакова столько из имеющихся войск, сколько он пожелает.

Наступление теперь должно уж было вестись по плану Меншикова со стороны Чоргуна, как это предполагал он и раньше, и с непременным выходом в самое чувствительное для интервентов место — в Балаклаву, чтобы отрезать Раглана от его базы.

Меншиков говорил горячо и убедительно. План этот, продуманный им до мелочей еще раньше, чем он вдруг решился наступать от Инкерманского моста и Килен-балки, сулил, по его словам, несомненный успех, и Горчакову стоило только взяться за его выполнение, чтобы стяжать себе славу спасителя Севастополя и всего Крыма.

Однако, как ни был на этот раз красноречив светлейший, Горчаков отказался от командования этим новым наступлением-вылазкой наотрез.

— Самое лучшее, — говорил он испуганно, — генерал Данненберг... Вот кто мог бы взяться за это дело, а я нет... я просто не в состоянии взять на себя такую задачу... совершенно для меня непосильную... Данненберг, я думаю, это мог бы.

— Не говорите мне об этом... Данненберге! — выкрикнул Меншиков, и гримаса омерзения так долго держалась на его изнуренном лице, что Горчаков испугался, как бы не осталась она уже теперь навсегда, до самой его смерти.

Согнавши, наконец, ее, светлейший спросил решительно:

— Значит, вы считаете себя неспособным провести это... эту вылазку?

— Точно так, неспособным... Совершенно это не в моих силах, — смиренно согласился Горчаков (до этой войны бывший генерал-губернатором Западной Сибири и сам напросившийся в действующую армию).

— Но вы... вы все-таки подумайте хорошенько... Некого назначить больше, нет людей! — настойчиво повторял Меншиков.

— Как же так нет людей? А генерал Липранди? — оживленно предложил Горчаков.

— Липранди? — поморщился Меншиков. — Он хороший начальник дивизии, но мне ведь нужен не генерал-лейтенант, поймите это, — мне нужен полный генерал, которого мог бы поставить я во главе армии! Ведь это будет уже не дивизия и не отряд в девятнадцать тысяч, какой был у Соймонова... Это будет армия... тысяч шестьдесят... может быть, даже больше того... Подумайте, кроме вас, у меня никого нет... А Липранди для этого дела не подойдет.

— Липранди — хороший генерал, боевой генерал, — уклончиво отозвался на это Горчаков. — Если он пока еще только генерал-лейтенант, то я уверен, что после этого дела он будет представлен вами же в генералы-от-инфантерии...

— Одним словом, вы решительно отказываетесь? — жестко уже спросил Меншиков.

— Я считаю себя неспособным для этого, — твердо, насколько мог, ответил Горчаков.

Меншиков пожевал тонкими губами, как будто ловя те оскорбительные по адресу своего корпусного командира слова, которые так и хотели и стремились сорваться; затем он простился с ним и выехал из Чоргуна. Потом со своими адъютантами подъехал к холму Канробера, взобрался на него и с четверть часа оглядывал Сапун-гору, Кадык-Кой и дорогу на Балаклаву.

Он вернулся в Севастополь в полдень, а спустя час или два тому же Стеценко пришлось снова ехать к Горчакову с письмом светлейшего. В этом письме Меншиков повторял свое предложение и просил его подумать хорошенько, а если уж он, по причинам, только ему и известным, считает это для себя непосильным, то чтобы передал это поручение Липранди.

Горчаков вызвал Липранди; письмо светлейшего они прочитали и обсудили вместе, но и Липранди так же отказался командовать наступлением, как и он.

Вместе они и составили ответ Меншикову, в котором, не без

основания, конечно, указывали на то, что наступление непосредственно после поражения не может сулить удачи, так как войска деморализованы, очень много офицеров убито и ранено, а без офицеров русский солдат не привык драться. Кроме того, по их сведениям, в ночь на 25 октября противник, опасаясь этого самого втайне задуманного русским главнокомандующим нового наступления, перекопал все дороги, ведущие на Сапун-гору, и везде, где только можно было, заложил мины; так что потери могут быть гораздо больше, чем в Инкерманском сражении, а результаты гораздо меньше. Очень удручен был этим ответом двух своих генералов главнокомандующий.

— Нет людей! — повторял он, укоризненно глядя на своего неизменного полковника Вунша, который исполнял теперь обязанности директора его канцелярии и вместе с тем ведал продовольствием войск. — Никому ничего поручить нельзя! А ведь я не могу же быть везде и всюду сам! Так меня и на две недели не хватит!.. Нет людей!.. Вот также и Нахимов... Доверил наводку моста своему флаг-офицеру, а тот и провозился с нею до семи часов! И этим сорвал все дело: Павлов вовремя не мог подойти к Соймонову, и тот погиб, и три полка его тоже... Хорош и Нахимов тоже! Он был у моста во время отступления и даже, как мне передавали, принес свою долю пользы, распорядился движением войск... Но вот раненые запрудили и мост и плотину; многие даже легли на мосту, не могли идти дальше... Артиллерия стала, зарядные ящики тоже, — закупорка полная... А неприятель спускается вниз. Охрана моста была, но она была незначительная, разумеется, и куда же ей было отстоять мост. Лейтенант Сатин заведовал мостом. В таких передрягах никогда не бывал, а тут недалеко, шагах в тридцати, Нахимов. Кричит ему Сатин по-французски: Нахимов, недолго думая, командует: Каково, а? Хорош бы был Сатин, если ко всему тому хаосу, какой был на мосту, еще и зажег бы его снизу! Конечно, скоро Нахимов поправился. «Ломайте!» — кричит. Он думал, видите ли, что нашел, наконец, сухопутный выход из положения! Морских выходов он помнил три: сожги, взорви, утопи! А «сломай» — это уж, по его мнению, был бы сухопутный выход. Нет чтобы сколотить сопротивление!

— Хорош был бы лейтенант, если бы начал ломать мост, когда бегут последние!.. — сказал Вунш. — Его свои бы и убили, как изменника... Чем же все-таки кончилось это?

— По счастью, «Херсонес» подтянулся к самому устью Черной, оттуда заметили англичан и охладили их пыл гранатами... Дальше уж переправа пошла гораздо глаже.

Через руки Вунша, как правителя канцелярии, как раз проходило в это время донесение на «высочайшее имя», в котором после перечисления полков, участвовавших в деле, и очень короткого и осторожного в выражениях изложения самого дела, названного вылазкой, говорилось:

«Отступление совершилось в порядке в Севастополь и через Инкерманский мост, а подбитые орудия свезены с поля сражения в город.

Великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич находились в этом жестоком огне, подавая пример мужества и хладнокровия в бою».

Представление к награде их орденом Георгия 4-й степени писалось отдельно, и в нем сказано между прочим, что они «вели себя истинно русскими молодцами».

### III

На другой день Меншиков объезжал в городе и на Инкермане остатки полков, участников сражения.

Адъютанты его постарались, чтобы это было сделано не то чтобы совершенно втайне от свиты великих князей, но имело бы вид репетиции к смотру «высоких гостей».

У главнокомандующего, однако, были при этом и свои цели.

Не теряя времени, он послал в Николаев за подкреплением: ему нужны были пехотные части, чтобы пополнить большую убыль в войсках. Главным образом очень недоставало офицеров.

Мысль о новой большой вылазке, которая искупила бы все неудачи первой, только и поддерживала силы светлейшего.

Теперь, когда великие князья были уже представлены к высшей военной награде за храбрость, он мог надеяться убедить их не

рисковать жизнью в близком новом сражении, план которого думал разработать совместно с Семякиным, которого окончательно решил сделать начальником своего штаба.

С утра в день смотра было ясно, потом нахлынули с моря тучи, и как раз во время объезда полков дивизии Павлова, расположенных около инкерманских генуэзских руин, пошел надоедливый дождь.

Полки эти имели вид совсем неформенного сброда, так как многие солдаты растеряли во время боя кто ранец, кто манерки и подсумки совсем с поясами; у многих ружья были со сломанными штыками или без штыков, а некоторые вышли на смотр даже без ружей, — картина, знакомая уже Меншикову по Алминскому бою.

Иные роты убавились до величины взвода; батальоны свелись к роте военного состава, полки — к батальонам.

Больше всего потерь оказалось у тарутинцев.

— Где же это вы так пострадали? — мрачно спрашивал князь солдат.

— От своих больше пострадали, ваша светлость, — еще мрачнее, чем он спрашивал, отвечали тарутинцы. — Так что селенгинские подошли сзади и всех начисто постреляли.

Долго выяснял изумленный Меншиков, правда ли это и как это могло случиться. Однако и соседние с тарутинцами бородинцы подтвердили, что так именно это и было.

Селенгинцы знали о себе, что они на совесть дрались с англичанами и что среди них найдется немало таких, которых должен будет наградить главнокомандующий; но когда подъехал к ним Меншиков, он даже не поздоровался с ними.

Он остановил донца своего перед фронтом, оглядел их брезгливо и возмущенно и крикнул фальцетом:

— Своих перестреляли, убийцы!

Приготовившиеся было уже гаркнуть «от сердца» в ответ: «Здравия желаем, ваша светлость!» — селенгинцы поперхнулись на «здра...» и осеклись.

Потом кое-кто из солдат посмелее отозвались:

— Как же можно, чтобы своих, ваша светлость!.. Боже избави, чтобы своих мы! Стреляли, в кого полагается!

Как раз в это время дождь полил сильнее. Меншиков плотнее

застегнул свою серую солдатского сукна шинель и поехал дальше, к якутцам.

Навстречу ему вышел с рапортом командир Якутского полка полковник Бялый, сильно хромая на правую ногу, а перед первым батальоном стоял подполковник Малевский с перевязанной головой и с подвязанной к шее левой рукой.

— Ла-за-рет! — протянул недовольно Меншиков, подъезжая, а выслушав рапорт Бялого, спросил его брезгливо, кивнув при этом в сторону Малевского:

— Почему вы хромаете? И хотел бы я знать, где этот ранен?

Бялый слышал уже кое-что о светлейшем, но никак не ожидал такого вопроса. Он оглянулся на Малевского и, обиженный больше за него, чем за себя, ответил отчетливо и громко:

— Хромаем мы от боли в ранах, ваша светлость! А ранены мы оба там, где отняли батарею у английской гвардии, ваша светлость!

Ответ этот по своему тону показался Меншикову дерзким, и он проехал мимо выстроившихся якутцев, не останавливаясь для дальнейших расспросов.

За смертью Соймонова и отказом Горчакова и Липранди командовать новой вылазкой, у него оставался еще ехавший теперь рядом с ним генерал Павлов, но восточное обличье его не понравилось ему и раньше, не нравилось и теперь, и он даже не пытался говорить с ним что-нибудь о наступлении.

Со смотра своих войск возвратился он в караулку совершенно разбитый: наступление вести оказалось не с кем.

Мало того, моряки на бастионах были настроены очень нервно: ждали штурма на Малаховом кургане, на третьем и особенно на четвертом бастионе, который жестоко обстреливался и французами и англичанами перекрестным огнем.

Этот бастион был выдвинут далеко вперед и в то же время открыт для обстрела с трех сторон, причем у противника были командующие высоты.

Там всегда было много потерь, а теперь как раз команды матросов, которые шли на смену на этот злополучный бастион, придумали, точно по сговору между собою, песню под шаг. В песне этой было всего



испугала Павлова, что он бормотал какую-то нелепицу, поминутно прикладывая руку к сердцу и, наконец, начал умолять никакого больше наступления не делать.

— Ваша светлость!.. Ваша светлость!.. Христом богом умоляю вас, от глубины души и чистого сердца, — не губите напрасно войска!.. Они пойдут, они выполнят приказ ваш, но ведь они погибнут, они погибнут!..

У него даже слезы показались в черных глазах восточного овала, и Меншиков сказал ему мягко, но решительно:

— Вам, кажется, надобно отдохнуть... Вы слишком много испытали во время боя... Я над этим подумую... Прощайте.

На другой день Павлов был откомандирован из Севастополя, чтобы не заражать своею паникой других.

Дня через три после Инкерманского побоища никто уже не мог бы разуверить Меншикова в том, что все ближайшие помощники его, генералы, были из рук вон плохи.

Но он видел также, что диспозиция, написанная генерального штаба полковником Герсевановым, исполняющим при нем обязанности генерал-квартирмейстера, была составлена в таких выражениях, что понять ее можно было как угодно, а лучше было вовсе ее не придерживаться и поступать по-своему, как вынужден был это сделать единственно толковый и по-настоящему отважный генерал Соймонов.

Он видел и то, что все бараки, сараи, магазины, батареи Северной стороны, имевшие обширные казематы, заняты ранеными, которые все прибывали и прибывали и которых решительно некуда было девать.

Меншиков разослал было в разные стороны своих многочисленных адъютантов, поручив им устроить госпитали хотя бы самого упрощенного типа, но из этого ничего почти не вышло.

К концу третьего дня после боя, почувствовав ясно, что ему не на кого положиться и опереться, что он — один, а около него пустота, Меншиков вспомнил о товарище своей юности Горчакове 2-м и написал ему, что он не видит уже возможностей отстоять Севастополь и спасти Крым.

Когда люди приходят к убеждению, что они не в состоянии сделать то, к чему были призваны и что считали выполнимым, это значит, что они

обессилели, что им изменила энергия, что они постарели внезапно. Меншиков был стар и год назад, однако он раньше не думал об этом, и написать, что он не может отстоять не только Севастополь, но даже и Крым, для такого самолюбивого и знающего себе цену человека было нелегко.

Однако часто бывает, что во время борьбы, теряя свои силы и выдыхаясь, мы не замечаем, что наш противник напрягает последние силы и, если даже мы сами признаем его победителем, он будет не в состоянии воспользоваться этой своей победой.

Меншиков, назначая свою вылазку на 5 ноября (по новому стилю), не знал, что на то же самое число Раглан и Канробер назначили ожесточенную бомбардировку и штурм третьего и четвертого бастионов, который мог бы удалиться, пожалуй, если бы не Инкерманское сражение.

Для штурма, разумеется, они собрали бы подавляющие силы, и если бы они заняли только эти два бастиона, то это предreshало бы скорое падение Севастополя. Меншиков предупредил союзных главнокомандующих, хотя и потерял треть введенного в дело войска. Потерять треть войска это много, конечно, но потерять надежду на оставшиеся две трети это уже значило чувствовать себя непоправимо разбитым.

Впрочем, написав письмо Горчакову 2-му, он мог и не послать его на другой день, если бы не странный сон, который он видел ночью.

Крепкого сна он не знал в последнее время. Он ложился в постель, почти не раздеваясь, и засыпал ненадолго, продолжая и во сне жить несколько видоизмененной явью. Так же было с ним и в эту ночь.

Он очень отчетливо и памятно для себя видел какую-то тинистую, неглубокую, но с заметным течением речку в низких берегах. Она была похожа на Черную речку, но уже и не того цвета воды: здесь цвет был какой-то свинцовый. И если на берегах Черной речки в день Инкерманской битвы толпилось до двух десятков тысяч людей в одинаковых желтых шинелях, то здесь, на этой речке, люди были только на одном берегу, и их было немного.

Они раздевались на берегу и входили в воду как будто затем, чтобы искупаться, но на другой берег не выходили, не возвращались и на

этот.

Обыкновенная узкая мелкая речонка, но странно было видеть, что в нее погружались сразу до подбородка, держа головы затылками к воде, лицом кверху. И вот эти головы совершенно безмолвно, с поднятыми лицами погружаются в свинцовую воду, — медленно или быстро, нельзя постичь. Только видно, что вода подсасывается как-то непонятно к каждому затылку и сосет мозг через черепные кости.

Волокнами, длинными, белеющими в свинцовой воде волокнами выходит из черепов мозг и всасывается водою, и потом как-то странно и страшно начинает рассасываться лицо, и от всего лица каждого человека в этой воде остаются только одни глаза. Потом один выпученный испуганный глаз отделяется от другого, такого же испуганного выпученного и уплывает куда-то... Неизвестно, нельзя уследить, рассасывается ли он тоже, но он отплывает, уплывает куда-то от другого глаза, и это непереносимо ужасно. Он будто стоит на берегу раздевшись, чтобы лезть в воду и доказать кому-то, стоящему сзади него, что с ним, Александром Сергеевичем Меншиковым, этого не может случиться, что он прежде всего слишком высокого роста для такой маленькой мелкой речонки.

И он входит в воду, но в то же время он же как будто и наблюдает за самим собой со стороны и видит, что речка не так мелка, как казалось, и что вода в ней густая и теплая, как застывающий растопленный свинец, и что в ней, в этой воде, нельзя шевельнуть ни одним членом.

И вот уже затылок его, как и всякого другого, кто раньше вошел в эту страшную речку, начинает рассасываться, в нем тупая глухая боль, из него тянется (он видит это) белыми нитями мозг — мозг, в который стремился всегда вложить он так много, читая книги по всяким отраслям знаний, и, наконец, череп его пуст и легкий, и нет уже черепа, и нет лица, и только тяжелы испуганно выпученные глаза...

Когда же один его глаз, отделившись от другого, уплыл куда-то, Меншиков проснулся в холодном поту.

Письмо Горчакову 2-му было отослано с курьером в тот же день утром. Одновременно подобное же письмо о невозможности отстоять Севастополь было отправлено им в Петербург военному министру Долгорукову.

## Глава шестая. Разгул стихий

### I

Катились барабаны...

И большие — так называемые турецкие, такой величины, что в них можно спрятать от глаз начальства краденных на походе индюков, козлят и ягнят, и средней величины — парадные, и малые — барабаны каждого дня строевой и боевой службы, — они вырвались из своих убежищ в палатках барабанщиков на вольную волю, игриво перепрыгивали с бугорка на бугорок через дождевые лужи, докатывались до обрыва и стремительно мчались вниз, в овраг, причем каждый встречный куст старался не упустить этого единственного случая в своей жизни и пошлепать по звонкой их коже трепещущими от счастья лапами.

Домчавшись до самого дна глубоких оврагов, перерезавших в разных направлениях лагерь интервентов на Сапун-горе, барабаны, однако, не успокаивались на этом, хотя и переворачивались плашмя. Случалось, что злостный порыв бури залетал и в самые потаенные места оврагов, и тогда барабаны подхватывались им на воздух, выносились на верховья Килен-балки, Воловьевой балки, Сарандинакиной, Делагардиевой или какой другой из многочисленных балок исторического значения и скакали теперь уже вниз, в сторону русских бастионов, а за ними, с опасностью для жизни и от бури и от нечаянной пули, скакали с завороченными ветром на головы шинелями барабанщики, понимавшие, конечно, что, если унесет в русский лагерь их барабаны, они уж барабанщиками больше не будут. Кроме того, барабаны эти были ведь казенное имущество, за которое несли они ответственность, как обыкновенные пехотинцы-рядовые за свои штуцеры, артиллеристы за банники...

Летели, летели и летели так высоко и далеко, как никогда в жизни не приходилось им летать, петухи и куры, недавно привезенные на пароходе из Болгарии для надобностей офицерских кухонь и мирно ожидавшие конца своих дней в сколоченных из ящичков курятниках...

Летели и никак не могли остановить этого подневольного и необычайного полета... Летели и орали совершенно оглашенными голосами.

Но вместе с ними мчались и крутились по воздуху, выкидывая всевозможные штуки, точно стаи выпущенных под свист в два пальца белых турманов, необходимейшие канцелярские бумаги, еще не подшитые к «делу», и дождь обрадованно бесчинно смывал с них все цифры, заведомо лживые, все приказы, заведомо неисполнимые, все донесения о том, чего не было и не могло быть.

Вслед за барабанами катились вниз с откосов бочки, бочонки, тюки прессованного сена, крыши деревянных бараков, сорванные бурей... Вслед за петухами и деловыми бумагами летели металлические кружки, чашки, кастрюльки, куски досок, обрывки палаток, каучуковая посуда, столы, стулья, фуражки, белье...

Потом очень быстро, — не успевал следить глаз, — клубясь и вздуваясь, надвинулась с юго-запада необыкновенно зловещего, почти черного цвета туча, засверкали страшно яркие молнии, загремел гром, и начался ливень при ветре, такой силы ливень, что не больше как в десять минут совершенно затопил весь лагерь интервентов: на фут стояла вода во всех палатках!

К восьми часам утра утихло, туча пронеслась дальше на север, солнце глядело широко и пристально, и всем казалось, что внезапно кончились, но это было только начало их — увертюра к музыке, весьма продолжительной, грозной и по своим последствиям очень печальной для интервентов.

Царь Николай в одном из своих писем Меншикову писал, что у него есть в запасе большая надежда на «равноденственные бури», которыми славится Черное море.

Еще генуэзцы познакомились с этими бурями в средние века; они и называли Евксинский понт Черным морем.

Одна из памятных бурь была в 1839 году и стоила России нескольких военных судов, разбившихся у берегов Кавказа, и до пятидесяти мелких торговых.

Подобная же буря, только гораздо более мощная, надвигалась и теперь. Она шла толчками. Она точно собиралась с силами и время от

времени пробовала, как велики эти силы. А когда набралось довольно, стеною двинулась на берег и не отступала от него целые сутки.

Набухшие от ливня, отяжелевшие палатки союзного лагеря, изнутри утвержденные на шестах, а снаружи приваленные большими камнями, даже стенками окруженные в защиту от ветра, валило сплошь, точно косило большой урожай. Накрытые мокрыми тяжелыми полотнищами, всюду в лагере копошились в грязи офицеры и солдаты, стараясь выбраться наружу, где их валило с ног и катило по лужам. Опрокидывало даже лошадей с повозками...

Буря принесла новый, хотя и мелкий дождь, скоро сменившийся градом, потом снегом. Разбушевалась метель, какая бывает только глубокой зимою. Большие, гораздо прочнее устроенные госпитальные палатки, в которых лежали больные тифом и другими эпидемическими болезнями, сопротивлялись буре весьма недолго; их также свалило, и больных постигла участь здоровых, с тою только разницей, что они были совершенно беззащитны против разгула стихий, и многим из них не суждено было перенести этого дня.

Англичане раньше с большою завистью смотрели на запасливых и домовитых французов, у которых был не только город Petit Paris, или, по-русски, Камыш, потому что стоял он на берегу Камышовой бухты, но и в лагере много было деревянных вместительных барачков.

Чтобы построить такие же, Раглан, только что сделанный маршалом Англии, командировал незадолго до бури за досками одного из своих адъютантов в Синоп, около которого росли строевые леса. Кстати, англичане, выкорчевав все виноградники около Балаклавы и выломав в ее домишках полы и лишние, по их мнению, стропила крыш на топку, очень все-таки нуждались в дровах, так что и дрова тоже должны были им привезти из Синопа.

Но, увы, буря не пощадила французских барачков, так привлекательных для английских глаз! Они рассыпались, точно картонные, точно исключительно для того, чтобы показать тщету усилий европейской культуры в этой заведомо варварской стране.

Как раз в это самое время в Константинополе на монетном дворе озабочены были отливкой медали в честь союза Франции, Англии и Турции. На одной стороне этой большой серебряной, величиной с

гульден медали изображены были Наполеон III в середине, подающий левую руку султану Абдул-Меджиду, а правую королеве Виктории. Внизу медали поставлен был год гиджры 1231 и выбиты слова . На оборотной стороне медали надпись уже на турецком языке объясняла будущим поколениям, что эти три могущественных монарха соединились для того, чтобы защитить просвещение. Цель войны была, наконец, определена четко и увековечена на серебре.

Пока же незванные защитники цивилизации прибегали к способам самым первобытным, чтобы как-нибудь защититься от бури.

Многочисленная свита лорда Раглана, который занял для себя лично и для своего штаба помещичий домик, немудро, но прочно построенный, лишившись своих палаток, атаковала конюшню. Часть крыши с этой конюшни, правда, была уже сорвана, но под другую часть можно было укрыться от колючего снега, бьющего со страшной силой в лицо. Лошадей разместили у стен. Оторванные от своих кормушек, они недовольно ржали и даже лягались, но должны были все-таки уступить привычные стойла джентльменам, которые сейчас же нашли в этих стойлах лишнее дерево и развели спасительный огонь.

Однако в это единственное от урагана убежище скоро набилось столько офицеров, что даже притиснули к стенам лошадей. А кругом в лагере все было непроницаемо бело от метели. Поваленные палатки очень крепко примерзли к земле. Солдаты густыми толпами искали спасения около провиантских амбаров, возле каменных стен, под крутыми обрывами балок, но спасение это зависело всецело от того только, насколько велика была их выносливость.

Во французском лагере много африканских егерей не перенесли этих бешеных суток и утром на следующий день подобраны были заочеченными.

Борьба с разбушевавшейся стихией казалась всем настолько непосильным делом, что солдаты кричали офицерам: «Видите нас лучше на Севастополь!.. Лучше погибнуть, сражаясь с русскими, чем здесь от бури!..»

Им казалось, что они переживают предел человеческих страданий. Однако это был еще далеко не предел. Кроме твердой стихии — земли, была еще колеблющаяся, изменчивая стихия моря. Она лежала

тут же, рядом, и на ней неописуемо трепало и било союзный флот, единственное средство связи интервентов с их отдаленными базами.

## II

Как раз накануне вечером прибыло несколько полков подкрепления как французам, так и англичанам. Полки эти высадились на Херсонесском мысу, откуда расходились по своим лагерям.

Дальше всех пришлось идти в темноте, грязи по колени и под дождем 46-му пехотному полку англичан, и многие из солдат во время этого похода говорили, ругая свое начальство, что гораздо лучше было бы им провести ночь на «Принце» — пароходе, который их привез, а отмаршировать в лагерь при дневном свете.

Но человеку не дано это житейски необходимое, конечно, свойство угадывать даже свое будущее, не только будущее других, и те, кто строили, и те, кто снаряжали в далекий рейс пароход «Принц», отнюдь не думали, что век его будет весьма недолог и первый рейс его окажется последним.

А между тем это был прекраснейший винтовой пароход, обошедшийся в постройке более полутора тысяч фунтов стерлингов и с грузом ценностью в пятьсот тысяч фунтов.

Он вез теплую зимнюю одежду для армии, госпитальные принадлежности и медикаменты, в чем армия терпела большую нужду, множество консервов и между прочим водолазные и взрывные приборы, отправленные из Англии для очищения севастопольского порта от затопленных по приказу Меншикова у входа на Большой рейд кораблей.

В Лондоне лелеяли еще надежду ворваться в одну прекрасную ночь в бухту, потопить там оставшиеся еще корабли Черноморского флота (одна из целей войны) и нанести городу непоправимые потери.

«Принц» пришел к Балаклаве еще за несколько дней до урагана, но море и тогда было очень беспокойным, и до тридцати судов скопилось перед входом в бухту, отстаиваясь на двух, трех, даже четырех якорях на сильнейшей волне, мешавшей их разгрузке. Если приступили все-таки к выгрузке войск, то только потому, что боялись новой большой вылазки русских. Однако генерал-квартирмейстер Эри, несмотря на сильную волну, хотел было снять с «Принца» груз, очень необходимый

для армии, но командир порта, капитан Дэкр, был человек упрямый и твердых правил: волнение на море, по его мнению, было настолько сильнее нормального, что он отказал даже и генералу Эри, как отказал командиру «Принца», капитану Гуделю, когда тот просил позволить ему ввести свой пароход в гавань.

— Я потерял уже два якоря, у меня остался всего один, — говорил Гудель Дэкру, пробравшись к нему с большим трудом на шлюпке. — Если порвется и этот якорь, что станет с пароходом?

— Чего вы хотите, сэр? — спросил суровый Дэкр.

— Я прошу разрешить мне ввести свой пароход в гавань.

— В гавани нет места для вашего парохода!

— Я вижу, однако, место для «Принца», — сказал Гудель и указал это место, но Дэкр был человек твердых правил.

— Тридцать судов еще, кроме вашего «Принца», хотели бы тоже занять это место, но я не могу позволить такой тесноты в гавани. Единственное, что я могу для вас сделать, сэр, это выдать вам второй якорь.

Гудель не мог убедить Дэкра, он только раздражил его.

— Еще одно домогательство с вашей стороны, — сказал он, — и вы будете арестованы мною, как капитан парохода «Резолют» — Левис, который тоже слишком настойчиво добивался разрешения войти в гавань. Говорю вам в последний раз: «Принц» может войти в гавань не раньше, чем из нее выйдет пароход «Виктория».

Гуделю оставалось только взять в шлюпку якорь и плыть обратно.

1/13 ноября барометр все падал и падал. Опасаясь сильного шторма, адмирал Лайонс отвел линейные корабли от берегов дальше в море. На одном из этих кораблей — «Ретрибюшен» — находился душевнобольной джук Кембриджский, на другом паровом корабле — «Агамемнон» — лежал раненый генерал Броун, потерявший руку, как и его друг Раглан некогда, в бою при Ватерлоо.

Капитан Гудель знал гораздо лучше Дэкра, насколько ценен тот груз, который доставил он на своем гигантском по тому времени пароходе — в две тысячи семьсот тонн водоизмещения. Не говоря об огромном количестве боевых запасов, на нем было сорок тысяч зимних шинелей и соответственное число фуфаяк и прочего вязаного белья, так

необходимого войскам ввиду надвигающейся зимы. Часть госпитального оборудования и медикаментов он должен был выгрузить в Скутари, но случилось так, что бурное море не дало сделать этого там, ожидать же подходящей погоды ни Гудель, ни бывший на «Принце» агент адмиралтейства капитан Байнтон не имели полномочий, так как должны были как можно скорее доставить 46-й полк и боевые припасы.

Ночь с 13-го на 14 ноября прошла для экипажей всех судов внешнего Балаклавского рейда в большой тревоге, но у всех была надежда на утро. Однако даже испытанные моряки побледнели, когда увидели, как низко упал барометр в седьмом часу утра: сомневаться в надвигающейся буре было уже невозможно.

И буря пришла...

Море побелело сразу во всю свою ширину. Оно запенилось, закипело, вскинулось огромными столбами крутящихся, несущихся к берегам смерчей и, наконец, всколыхнуло суда так, что много якорей не вынесло этой встряски: лопнули цепи.

Налетевшие смерчи закружили корабли и пароходы. На несколько жутких и долгих мгновений они совсем исчезли из глаз тех, кто следил за их участью с берега. Можно было думать, что их уже поглотило море. Но вот отхлынули смерчи, суда возникли вновь, и бывшие на берегу считали их, в понятном волнении то и дело сбиваясь в счете.

Армаду в тридцать с лишком судов несколько раз принималось с семи до девяти часов трепать и обдавать соленым душем смерчей, и совершенно нечеловеческие усилия должен был проявить несчастный экипаж их, чтобы не проститься с жизнью еще этим утром.

Однако, подбросив суда поближе к береговым утесам, буря внезапно утихла, точно это и был весь результат, которого она так настойчиво добивалась.

Затишье длилось недолго: буря только подтянула резервы, чтобы вернуться уже ураганом, таким ураганом, которого никогда не было в Англии. Теперь даже и смерчи показались бы досужей игрой моря; теперь было уж не до смерчей, теперь просто шла гибель армады, не дававшая никому времени следить за тем, какие формы принимает сплошь поднявшееся и хлынувшее к берегам Черное море.

Вид этой идущей гибели был так ужасен, что мичман Котгрев из команды «Принца» и с ним несколько матросов, наскоро привязав себя к спасательным приборам, бросились в море... И их выкинуло на берег где-то в таком месте, что они могли вскарабкаться на почти отвесные скалы и отсюда наблюдать, как один за другим разбивались об эти скалы и другие рядом несчастные суда.

«Принц» разбился пятым. Первым же погибшим был американский транспорт «Прогресс», сорвавшийся со своих якорей, а вторым тот самый «Резолют», который был удален из гавани капитаном Дэкром по каким-то ему одному известным соображениям.

На «Резолюте» был тоже дорогой для надобности английской армии груз, и командовавший им капитан Левис был отличный, опытный моряк, не зря вступивший в борьбу с капитаном Дэкром и его помощником Кристи. Это была борьба и за свою жизнь и за жизнь своего экипажа, но железная дисциплина, царившая в английском флоте, оказалась сильнее логики, основанной на знании моря.

Левис не терял еще надежды, что два якоря и цепи будут достаточны для того, чтобы удержать корабль, но мачты слишком помогали урагану раскачивать судно. Левис приказал матросам срубить их, однако это средство не помогло. Оно даже ускорило гибель судна: во время падения грот-мачта задела за цепь одного из якорей и порвала ее. Другой якорь еще держал, но когда срубили бизань-мачту, она упала на палубу, и ураган катал ее взад и вперед, сбивая в море и калеча матросов. Наконец, она докатилась до якорной цепи, цепь лопнула, и Левис прокричал, что теперь надежд больше нет, и всякий может спастись, как сумеет.

Огромные волны бросками влекли пароход к скалам, как на место казни. При первом же ударе половина матросов была отброшена в кипящее море, в котором чудовищно плясали обломки мачт «Прогресса», бочки с ромом и сухарями, тюки сена, ящики, сундуки, наконец куски бортов транспорта, который все еще швыряло и дробило о скалы.

При втором ударе разбился и «Резолют». Несчастный капитан Левис, повисший было на конце за кормою, был совершенно раздавлен, когда корма ударилась о скалу.

Американское парусное судно «Вандерер», зафрахтованное для нужд войны, быстро понеслось следом за «Резолютом» и разбилось в куски. Ни один человек с него не спасся.

Другой транспорт, «Кенильворт», перед тем как разбиться, столкнулся с вест-индским почтовым пароходом «Авон», капитан которого видел одно только средство спасения: вскочить в гавань через те самые узкие скалистые ворота, через которые и в тихую погоду проход был чрезвычайно труден.

Получив повреждения от «Авона», «Кенильворт» потерял уже возможность хоть сколько-нибудь сопротивляться урагану и разбился как раз в том месте, где до него разбился «Резолют».

Тогда-то и настала очередь «Принца».

Огромный пароход хотел повторить маневр «Авона», которому посчастливилось как-то, почти чудом, проскочить в бухту, и был такой момент, когда Гуделю удалось повернуть «Принца» так, что мерещилась надежда на успех, но его погубила срубленная перед тем бизань-мачта: она рухнула за корму, такелаж ее попал в круг действия винта, запутался в нем и остановил его.

Тогда «Принц» стал уже игрушкой бури. Наступила торжественная минута. Капитаны Гудель и Байнтон, быстро сбросив с себя верхнюю одежду, объявили:

— Спасайся, кто может!..

Однако никто не спасся.

Первый удар о скалу только помял борт парохода. Его отбросило, подняло на взмыве огромнейшей волны и ударило снова. Этот удар был уже так силен, что «Принц» распался на куски почти у самого входа в бухту.

На нем было сто пятьдесят человек экипажа, и, за исключением мичмана Котгрева с несколькими матросами, все погибли.

### III

Вслед за «Принцем» к тем же страшным скалам на гибель ураган гнал и гнал судно за судном, и чудовищна была его фантазия в деле истребления.

Как огромнейший молот на наковальне, плющил он о скалы деревянные овалы коробок судов, чтобы из них, разбитых на

части, волны выхватили и показали ему там, на высоте пятидесяти метров, что такое таилось в этих незамысловатых коробках.

Так появилась вдруг там, среди ярко-белой пены, пара смытых с палубы вороных арабских коней, и, расставив ноги для прыжка, они, чистопородные красавцы, брали барьер из миллиона соленых брызг, — и рушились в бездну вниз головами.

Иногда высоко на гребень волны взлетал моряк, и его бросало в расселину скалы. Жесток был удар о камни, ломавший ему ребра, и не сразу приходил он в себя от этой игры стихий. Когда же приходил, то недолго считал себя хотя искалеченным, но спасенным. Подскакивала ввысь другая волна, обшаривала все закоулки скалы и уносила его, как свою законную добычу.

Ящички с сухарями и бисквитами разбивались; сухари быстро размокали и облепляли скалы слоем теста. Глубоко в трещины забивались окорока. Туда же попадали и бочонки с ромом... — для чьих пиров?

Иногда мачты со всеми принадлежностями к ним стоймя торжественно появлялись и держались так несколько мгновений там, наверху, на гребнях, как будто скалы сами питали надежду оснаститься, сдвинуться с места и поплыть.

Но исполинские волны вздымали свои гребни вровень со скалами только затем, чтобы потом белыми свитками загибаться и свертываться — свитками, испещренными осколками, обрывками, всяким щебнем, оставшимся от крохотных человеческих трудов.

На пароходе «Ретрибюшен», который и на четырех якорях трепало, точно щепку, несчастный душевнобольной герцог Кембриджский то громко молился, изо всех сил стараясь удержаться прилично этому занятию на коленях, то, катаясь по палубе, обдаваемый щедро брызгами и страдающий от морской болезни, стонал:

— О-ой, застрелите меня!.. Я вам приказываю, мерзавцы!.. Я — начальник гвардейской дивизии, приказываю вам: застрелите меня!

Несколько раз делал он попытки выброситься за борт, почему пришлось привязать его.

Чтобы облегчить пароход, слишком низко сидевший, с него сбросили в море все орудия. Он получил очень большие повреждения, но все-

таки отстоялся.

На «Агамемноне», носившем флаг адмирала Лайонса, вспыхнул в машинном отделении пожар, конечно скоро потушенный.

Он и три больших линейных корабля уцелели, уйдя далеко в открытое море, но даже и канонада с севастопольских фортов не причинила им столько разрушений, как эта буря.

— День четырнадцатого ноября для союзного флота все равно, что день пятого ноября для союзной армии, — говорил после Лайонс.

(5 ноября по новому стилю было Инкерманское сражение.)

Пароход «Авон», спасаясь от гибели, повредил не только злополучный «Кенильворт». Перед тем как проскочить в едва мреющие в брызгах и пене снизу и снегопаде сверху ворота гавани, он, бросаемый волнами, повредил еще и другое судно — «Мельбурн», но, может быть, толчок, полученный им самим при этом, помог ему очутиться в безопасной пристани. Однако что это была за безопасная пристань!

Здесь многие корабли были привязаны друг к другу, иные же прикрепили себя к прибрежным скалам, как к самым надежным причалам. Но чуть только разразилась буря, они стали дрейфовать вдоль всей гавани и сталкиваться друг с другом. Якорь отдавался за якорем, но илистый грунт дна плохо держал их, — они тащились. Но бывало и так, что якорь держался прочно, тогда лопались якорные цепи, как веревки.

На суда, стоявшие ближе к набережной, напирали суда, стоявшие в середине, и первые то здесь, то там терпели аварии.

Один австрийский бриг, сорвавшийся с якорей, был отброшен на скалы, опрокинулся и затонул. Сломанные при этом мачты его косо торчали под водой,

Вскочивший в гавань «Авон» столкнулся с судном «Виктория» и тоже сорвал его с якорей. «Виктория» понеслась к берегу, там сломала руль и винт и легла на бок.

В такой смиренной и кроткой в тихую погоду, в такой уютной обычно Балаклавской бухте суда плясали теперь самый дикий и пьяный канкан, какие могут только присниться в кошмаре.

Один из кораблей считанных двенадцать раз ударился о береговые скалы. Размах волн здесь не был так силен, чтобы разбить его с двух-

трех ударов, и только двенадцатый оказался для него роковым, и он распался. Его экипаж пользовался близостью его к берегу во время этих ударов, чтобы соскакать с него на скалы. Иным счастливым удались такие прыжки, но большинство падало в промежуток между бортом и каменным отвесом или срывалось со скользких и голых камней, и их давило.

В гавани к реву урагана примешивался треск ломавшихся мачт и то здесь, то там глухой стук, сталкивающихся судов, а крики людей, терпящих бедствие, сливались в один многоголосый вой с криками людей на берегу, не знающих, как и чем помочь.

#### IV

Английские суда имели стоянку и в других местах крымского побережья: близ устья Качи, близ Херсонесского мыса, около Евпатории.

В этот грозный для флота интервентов день погибли из них при Каче: «Канг», «Будвель», «Тейрен», «Лорд Раглан», «Пиренеи»; все они были выброшены на берег, причем последнее судно сгорело, как сгорел и транспорт «Дунай» у Херсонесского мыса.

Однако гораздо чувствительнее оказались потери боевого флота у Евпатории. Там погибли: «Георгиона» о восьмидесяти одной пушке, «Глендалоуг» о восьмидесяти пяти, «Гербингер» о шестидесяти одной, «Азия» о пятидесяти трех и «Мажесте».

Французский флот лишился стопушечного линейного корабля «Генрих IV», военного парохода «Плутон» и других судов.

Только гораздо позже были полностью подсчитаны интервентами потери людьми и убытки от бури.

Погибло свыше тысячи человек, убытков же оказалось на сорок пять миллионов франков.

Но дело было не столько в денежных убытках, от чего страдали большей частью страховые общества в Марселе, Лондоне, Ливерпуле, Соутгемптоне... В конечном итоге от гибели судов, которые везли и не доставили армиям интервентов теплую одежду, лекарства, продовольствие, должны были сильно пострадать и действительно пострадали в первую голову английские солдаты.

Свыше тридцати английских палаток, из которых каждая рассчитана

была на четырех человек, примчало ураганом в чоргунский лагерь. Русские солдаты, — которые жили в норах под шалашами, были, конечно, рады такому подарку и сейчас же приспособили палатки для своих нужд. Но зато человек полтораста английских солдат остались в грязи и на холоде.

Даже сам Раглан, который, несмотря на свой почтенный возраст, не жаловался пока на здоровье и не терял спокойствия, сделался жертвою урагана: к концу дня крыша его дома не устояла на месте, и половину ее разнесло далеко по окрестностям.

Тот самый 46-й полк, который прибыл на «Принце», принес с собою в английский лагерь новую вспышку исчезнувшей было холеры, и уже к вечеру того дня, в который бушевал ураган, умерло от нее в этом полку до тридцати человек.

На позициях в этот исключительный день притих боевой пыл; траншеи были полны водою; ливень, снег, град скрыли друг от друга противников. Однако — велика сила привычки! — по несколько выстрелов сделало и в этот день каждое из больших орудий как в стане осажденных, так даже и в стане осаждающих.

Меншиков перед бурей перебрался из своей караулки на пароход «Громоносец». Но «Громоносец» утром был выкинут на берег и стал наклонно. При помощи матросов спустился светлейший в шлюпку, а спускавшийся следом за ним старший военный чиновник его штаба Камовский упал в воду вместе со своим портфелем. Едва спасли и его и портфель с бумагами весьма серьезного свойства.

Нахимов распорядился спасением судов в бухте, которые то сталкивались между собою, то садились на мель. С флагманского корабля «Двенадцать апостолов» то и дело давались сигналы, какому пароходу и к какому судну идти на помощь. Деятельнее всех работал в этот день «Владимир», и чаще других адмирал сигналами «изъявлял ему свое особенное удовольствие» и награждал матросов «чаркою водки невзачет».

Кипучая деятельность эта привела к тому, что в севастопольском порту ни одно судно не пострадало.

Сильным волнением раскачало только «Силистрию», затопленную в фарватере Большого рейда, и она поднялась со дна, несказанно

поразив этим моряков и прежде всего самого Нахимова, который долго командовал этим кораблем и потому питал к нему особенную нежность.

— Вот, извольте посмотреть-с, — обращался он взволнованно к окружающим. — Все говорили: «Старье-с! На слом... Сдать в порт!» А я утверждал, что «Силистрия» вполне исправный корабль... Извольте теперь полюбоваться, — и кто прав? То-то-с!.. Море одолела и поднялась!

Только на другой день оказалось, что поднялась не вся «Силистрия» целиком, — это было бы действительно чудом! — а только оторвавшаяся палуба с бортами, и было это признаком не крепости корабля, а наоборот — его дряхлости: он просто рассыпался там, под водою, от напора волн.

Меншиков приказал на том же месте затопить другой, тоже достаточно уже старый линейный корабль «Гавриил».

У

На другой день вдоль берега между Качей и Евпаторией шныряли уже разъезды казаков и улан и снимали команды с выброшенных на берег судов.

Так взвод серых улан Новоархангельского полка разглядел в семь часов утра, что метров за тысячу от берега, против селения Айерчик, стоит большое неприятельское судно с поломанными мачтами, причем на одной мачте отчаянно треплется английский флаг, на другой — красный, знак того, что судно в большой опасности и просит помощи.

Насчитали двадцать четыре люка в бортах, хотя сосчитать это и было трудно: огромные волны ходили в море... Буря, если и не такой уже силы, как накануне, все-таки продолжалась, и судно страшно качало: то очень высоко задирало оно нос, то нос стремительно падал, и подымалась корма. Разглядели также и то, что матросы что-то выкидывали с палубы в море, чтобы облегчить вес судна, может быть, уже глотавшего воду трюмом. Доступа к судну не было; разговаривать с ним можно было только пушками, но пушек пришлось ждать несколько часов.

Наконец, показалась полубатарея: под Евпаторией она только что разбила выстрелами и сожгла стоявшее на мели судно, чтобы его не

стащили интервенты; теперь она шла вдоль берега на юг.

Орудия были установлены против судна, и на пике подняли флаг из четырех связанных углами платков..

Однако, хотя этот флаг и виден был, конечно, с судна, он не произвел действия: там по-прежнему выбрасывали за борт тяжести и не спускали ни английского, ни красного флагов. Пришлось открывать стрельбу из орудий, и только когда ядра стали ложиться очень близко, на судне поняли, что надо сдаваться. Флаги спустили; вместо них заплескалось на мачте белое; оно означало: «Придите и возьмите», но уланы не имели лодок.

Только еще после двух выстрелов, причем одно ядро впилося прямо в корму, англичане спустили свои шлюпки, нагрузили одну из них своими вещами и направились к берегу.

За время ожидания артиллерии сюда к уланам подъехало несколько офицеров из штаба их полка, другие же примчались на выстрелы, так что на берегу в виду английского судна собралось немало народу, тем более что было на что и поглядеть.

Море бушевало. Белоголовые валы подкатывали к берегу и выкидывали сброшенные с судна бочки, сундуки, помпы, обломки мачт, и каждый такой подарок моря принимался с большим оживлением. Уланы откатывали подальше бочки, оттаскивали сундуки, чтобы их снова не унесло волной, при этом отпускали непринужденные шутки насчет того, что могло быть в бочках и сундуках; а начальник отряда послал в штаб полка за подводами.

Но внимание всех приковалось к первой шлюпке, на которой то подымались, блестя на солнце мокрыми лопастями, то опускались враз три пары весел.

Только наблюдая с берега, как иногда совсем исчезала из глаз эта несчастная шлюпка, скрываясь между двумя смежными валами, или как бросало ее из стороны в сторону, всю обдавая пеной и брызгами, и казалось, что вот-вот ей конец, поняли уланы, почему так медлили выкидывать белый флаг и спускать лодки английские моряки.

— Вот они где, страсти господние, — говорили уланы-солдаты; одни снимали фуражки и крестились; иные безнадежно махали руками.

— Пропадут! — решали и офицеры. — Им ни за что не добраться до

берега.

Однако, хотя и очень медленно, правда, но расстояние между шлюпкой и берегом все-таки сокращалось, и через полчаса можно уж было хорошо разглядеть, сколько человек сидит в шлюпке.

Оставалось каких-нибудь пятнадцать — двадцать сажен до отлогого здесь берега, вдруг шлюпку накренило, бросило вниз и покрыло волною так, что почти все отвернулись, ахнув, а через момент увидели снова блестящие лопасти неутомимых весел, и мокрые с головы до ног люди, радостно улыбаясь с лодки, резали волну.

Еще десятка два дружных ударов веслами, и лодка врезалась в песок у самого берега; в ней было шестеро англичан.

Едва ли когда-нибудь еще пленные встречались такими овациями! Уланы-солдаты кричали «ура», офицеры кричали «браво» и хлопали в ладоши. Капитан судна и команда прямо с лодки прыгали в воду и шли на берег, снимая шляпы, а их встречали объятиями, как друзей, за которых так нестерпимо болело сердце, пока они боролись с морем. Англичане лбызали без разбору всех солдат и офицеров. От них сильно пахло соленым иодистым морем и ромом.

Они и с собой привезли начатый уже бочонок рома, и в то время как один из них, навязав белую тряпку на весло, сигнализировал на судно, что их хорошо встретили, другие передавали из рук в руки заветный бочонок.

Из них только один капитан мог говорить по-французски и весело сообщил офицерам, что потерпевшее от урагана судно — английский фрегат — транспорт «Кюллоден» в семьсот двадцать шесть тонн с четырьмя пушками; что на нем сейчас военный груз: свыше семисот пудов пороху и тридцать тысяч ядер; кроме того, тридцать две дорогие лошади, предназначенные для штаба турецких войск, а сопровождает их такое же число турецких кавалеристов.

— Массу всякой провизии мы везли в Евпаторию, — словоохотливо добавил капитан, — и когда установится погода, вы все это могли бы переправить сюда на лодках.

У этого веселого здоровяка был вид человека, необыкновенно вдруг полюбившего русских и способного подарить им не только потерпевший аварию свой транспорт, но и разные другие суда.

Между тем отчалила от «Кюллоден» другая шлюпка, гораздо большая, в шесть пар весел.

За этой следили уже не с таким замиранием сердца, хотя она так же точно ныряла в волнах, то совершенно исчезая из глаз, то возникая снова. Она шла медленно и долго, не меньше часа. Когда же, наконец, вполне благополучно пристала к берегу, из нее вышли еще двадцать четыре английских моряка и семеро турецких кавалеристов, и насколько веселы, здоровы, жизнерадостны были англичане, настолько же истощенными, унылыми, еле живыми оказались турки, из которых было два офицера.

Конечно, и эти англичане кинулись сначала лобызаться с русскими, потом прикладываться к бочонку с ромом. Они даже плясали от радости, что все несчастья их кончились и они попали к явно хорошим и ничего против них лично не имеющим людям.

И чем, чем только не нагрузили они свою шлюпку! Тут были даже стенные корабельные часы, не говоря уж о массе чемоданов, саквояжей, разнообразнейшей провизии в ящиках и, конечно, роме в бочонках и бутылках.

— Значит, там осталось еще двадцать пять человек? — обратился начальник отряда к капитану.

— Турок, — поправил его капитан очень любезно. — Да, я хотел было даже обрубить якоря, чтобы ветром могло пригнать судно ближе к берегу, где оно могло бы сесть на мель. Но эти каналы, представьте, не дали мне этого сделать, а мне уж некогда было настаивать. Они очень упорны и ни за что не хотят отправляться на берег, хотя там есть еще шлюпка в двенадцать весел. Согласитесь сами, что если бы они дали мне возможность обрубить якоря и судно здесь где-нибудь совсем близко село бы на мель, ведь вы могли бы разгрузить его не спеша, — не так ли?.. Каки-е там лошади, эх! — и капитан поцеловал концы своих толстых пальцев.

— Но, может быть, вы все-таки как-нибудь флагом передадите им, этим туркам, чтобы они непременно съезжали на берег, иначе я вынужден буду открыть стрельбу, — обратился к нему снова начальник отряда.

— Сигнализировать им? Бесполезно, поверьте! Они ничего не поймут,

это прежде всего, а затем — турки! Ну, что может быть глупее и нелепее этого народа?

Тогда из четырех орудий было выпущено по снаряду, и что же? При каждом попадании и капитан и его матросы весело аплодировали наводчикам, но турецкие офицеры с умоляющими жестами кинулись к русским офицерам. Они знали очень мало французских слов и еще меньше русских, но все-таки им удалось кое-как, больше мимикой, объяснить, что совершенно не то происходило на транспорте, о чем повествовал капитан, что, напротив, турки просили, чтобы их тоже взяли, но их не хотели и слушать; сами же они не могут грести и неминуемо погибнут, если рискнут одни двинуться к берегу.

Нужно было видеть, как переменилось благожелательное к русским выражение лиц англичан, когда начальник отряда предложил им через капитана отправиться на лодках на транспорт и взять турок. Они переглядывались изумленно, пожимали плечами и потом с сожалением кивали головами на этих странных людей, которым зачем-то нужны турки.

Идти на лодках обратно они наотрез отказались, даже когда начальник отряда вздумал предложить им за это деньги.

Турки же кое-как объяснили, что англичане не хотели брать в лодку их, нагрузив ее сверх меры своим бесчисленным багажом, и они ворвались в шлюпку насильно в самый последний момент.

Этому вполне можно было поверить: при семи турках не было решительно никаких вещей.

Решено было пока отправить пленных. Англичане сами укладывали на подводы свой багаж, не забыв и корабельные часы; и подводы, запряженные тройками, тронулись, а за ними пошли пленные.

Как раз в это время прискакал с аванпостов офицер с очень важным донесением: от Евпатории шел пароход — военный английский, на сильных парах, очевидно привлеченный артиллерийской пальбой. Конечно, он непременно постарался бы взять на буксир транспорт и отправить его в Евпаторию, и тогда семьсот пудов пороха и тридцать тысяч ядер будут израсходованы по русским войскам.

Больше ничего не оставалось делать, как попробовать утопить или поджечь «Кюллоден».

Четыре орудия открыли оживленную пальбу по транспорту. Видно было, как несколько раз возникали там пожары, но их тушило море своими всплесками. Наконец, ядра пробили корпус судна ниже ватерлинии, оно стало наполняться водою и оседать.

Море здесь было неглубоко. Фрегат сел на мель.

Между тем пароход, шедший на выручку его, не подходил. Он даже повернул обратно в Евпаторию, оттого ли, что тяжело ему было идти в такой сильный ветер, или, что скорее, оттого, что не хотел подвергать себя действию русской артиллерии.

Так или иначе «Кюллоден» был пока оставлен на произвол судьбы и ветра, так как наступил уже вечер, шел дождь...

О нем вспомнили на следующий день.

Начальник отряда вызвал охотников из донских казаков пробраться к судну на лодках и выручить турок. Лодки были те же самые, на которых переправились на берег англичане.

Охотники, умеющие грести и плавать, нашлись. Несмотря на то, что ветер и в этот день был очень силен и несколько раз относил назад лодки, они все-таки добрались до судна и турок сняли. Им хотелось хотя бы поглядеть на редкостных лошадей, но лошади уже затонули.

Что еще оставалось сверху от «Кюллоден», казаки сожгли, и когда они привезли на берег двадцать пять полуживых турецких кавалеристов, то встретили на русском берегу этих вчерашних врагов так, как едва ли встретили бы их и на родине.

## VI

Турки, на «защиту» которых от русского засилья якобы выступили две сильнейшие морские державы мира, держались как англичанами, так и французами больше чем в черном теле. Балаклавское дело вконец испортило им репутацию. Тогда ими помыкали даже и ирландки, жены солдат, заставляя их таскать узлы со своим скарбом и приговаривая при этом: «Вы ни на что больше и не годитесь, как только таскать наши узлы!»

Кормить турок обязаны были англо-французы, но кормили их так плохо, что они часто заболевали от недоедания. Однако их совсем не лечили. И если «Таймс» о врачебных порядках в английской армии писала: «Наши солдаты получают свои раны в Крыму; госпиталь, куда

их отправляют, находится в Скутари, а аптека — в Варне», то турецкие солдаты должны были обходиться совсем без госпиталя и без аптеки.

Правда, в Балаклаве им отвели сарай под больных, но туда турки таскали на своих плечах, за неимением носилок, только таких заболевших, которые, по их мнению, должны были умереть, и вместо врача торчал там какой-то мулла, бормотавший над ними молитвы. Когда они умирали, выносили их тела, а на их место приносили других.

С врачами и в английской армии, — как и во флоте, — было плохо.

Чопорное дворянство, покупавшее офицерские места, не хотело якшаться с медиками, неизвестно какого происхождения, и напрасно эти последние обращались с просьбами к высшему начальству, чтобы им дали офицерские права и позволили иметь доступ в офицерские собрания в армии и в кают-компаниях — во флоте. Высшее начальство армии, так же как и адмиралтейство, наотрез отказало им в этом, хотя они и получали воспитание в академиях. Поэтому ни в армию, ни во флот врачи не шли, и было их там очень мало. Но в турецком отряде под Севастополем совсем не было врачей.

Потеряв свой лагерь в Балаклавском деле, кадыккойские турки не получили от своих союзников новых палаток и вынуждены были устраиваться по примеру русских — в шалашах и землянках. Но одеты они были по-восточному очень легко и совсем не имели сапог, а обходились одними туфлями, поэтому ноябрьская буря с ливнем и снегом принесла в их лагерь массу заболеваний.

В главной квартире союзной армии ставился даже вопрос об отозвании всех турецких войск в пределы Турецкой империи, так как они-де являются совершенно излишним балластом.

Но если бы было принято решение отделаться от турок, то что стало бы с только что отчеканенной медалью, на которой красовался рядом с Наполеоном III и Викторией султан Абдул-Меджид?

Турки, конечно, должны были остаться для прикрытия настоящих целей войны и остались, не столько принося пользу англо-французам, сколько неся наряду с ними потери и убытки войны.

Так, во время бури погибли их линейный корабль «Муфтаги Джегат» и

военный фрегат «Багире», причем на фрегате погибло двести семьдесят человек, а на корабле семьсот вместе с адмиралом Гасанпашою. Корабль этот был один из тех двух турецких кораблей, которые, стоя на флангах французской и английской эскадр, атаковали вместе с ними Севастополь 5/17 октября.

Когда же пожелание Канробера и Раглана очистить лагерь союзников от турецких войск дошло до французского военного министра, маршала Вальяна, то он воспользовался им, чтобы высказать и свой взгляд на Крымскую кампанию.

Военный министр Франции приходил к выводу, что отозвать следует не только турецкую, но и французскую армию, так как осада Севастополя ведется без полного обложения крепости, а это не может привести к положительному результату. Инкерманское сражение, столь пышно отпразднованное Наполеоном III, как долгожданная победа, давало Вальяну только повод утверждать, что армия союзников, уже попавшая один раз в клещи совершенно свободной в своих действиях армии Меншикова и неутомимого севастопольского гарнизона, может кончить очень печально, а Канробер — «на редкость неспособный главнокомандующий», которого непременно надо сменить, поставив на его место Боске.

Но «декабрьского генерала» Наполеон III отозвать не позволил; еще меньше, конечно, входило в его планы отозвание французской армии, сколько бы ни терпела она и от русских ядер, и от штыков, и от бурь. Что же касается императора Николая, то он был на высоте счастья, найдя себе такого хотя и случайного, но могучего союзника, как буря 2 ноября.

Узнав о ней из иностранных телеграмм, он писал Меншикову: «Спасибо буре! Она нам услужила хорошо; желательно бы и еще такой».

Буря стоила союзникам большого сражения, проигранного ими и на суше и на море, притом без всяких решительно потерь для их противника. Она лишила их тридцати четырех кораблей, фрегатов и транспортов, нанеся огромный вред остальным. Погибшие транспорты полны были жизненно необходимых ввиду наступающей зимы припасов: армия не получила их. В то же время буря развалила

многие провиантские склады союзников и, бросив под ливень и снег сухари, муку, сахар и прочее подобное, привела эти запасы в полную негодность.

Лагери интервентов были разгромлены бурей, войска оказались под открытым небом на холоде и в грязи, отчего на другой же день оказалось столько больных, что их совершенно некуда было девать.

Союзные адмиралы решили искать для флота более безопасных гаваней из боязни потерять и последние суда, а между тем основой всех действий интервентов именно и был их флот.

Буря принесла на своем бешеном хребте еще и то, чего так опасались и в Париже и в Лондоне: зиму и зимнюю кампанию.

Теперь одно воспоминание о беспардонной болтовне газет, что Севастополь может и должен быть взят в несколько дней, приводило в ярость офицеров союзных армий.

Ошеломленные свалившимся на них бедствием, интервенты приостановили даже осадные работы, а канонада их умолкла даже и против четвертого бастиона.

Больше того: перебежчики-турки передавали, что англо-французы свозят с позиций и грузят на суда свои осадные орудия, из чего в Севастополе поспешно вывели было, что враги убираются восвояси.

Но скоро разъяснилось, в чем было дело: большие осадные орудия действительно грузились на суда, — перебежчики не врали, — но это были орудия, заклепанные лихими минцами и охотцами в день Инкерманского боя и раньше, другими, во время ночных вылазок. Таких орудий набралось около тридцати, и их просто заменяли другими, взятыми с кораблей.

Армии очень охотно бросили бы Крым, но ни акционеры Ост-Индской компании, ни негодники Сити, ни биржевики и банкиры Парижа, ни Наполеон III, ни Виктория не могли бы согласиться бросить дело, стоившее так много денег, не добившись осязательного результата.

Это было бы и очень конфузно перед Европой, перед Турцией, перед целым светом.

Войну приходилось продолжать, чего бы это ни стоило и как бы к этому ни относились фельдмаршал Раглан и генерал Канробер.

## Глава седьмая. Казнокрады

### I

Дебу сидел в маленькой канцелярии батальона и писал между делом на своем родном французском языке в толстой тетради, которую можно бы было назвать дневником, если бы ставились в записях числа.

Но писать в этой тетради можно было только урывками, причем самую тетрадь приходилось на всякий случай прятать подальше.

Числа он не поставил и теперь, но это было несколько дней спустя после урагана.

«Осада Севастополя, — писал Дебу, — ведется союзниками при помощи больших сил и больших технических средств очень энергично, но следует признать, что и Севастополь обладает огромными средствами защиты и защищается умело.

От всех приходится слышать, что русские генералы очень плохи, но солдаты хороши. Особенно ревностно сражаются на бастионах, как артиллеристы, матросы; но ведь они — родные братья тех матросов и рабочих из флотских экипажей, которые в мае-июне 1830 года подняли восстание. Но восстание это если и было кому известно в остальной России, то только под стереотипным названием «холерного бабьего бунта». Так именно слышал о нем и я и включил его в серию «холерных бунтов», прокатившихся по России в 1830–1831 годах. Но только попав в Севастополь в рабочий батальон и только благодаря своему солдатскому званию я узнал от стариков, что это был за «бабий бунт».

Для того чтобы вспыхнуло восстание, нужно достаточное количество горючего материала, собранного в одном месте в вопиюще яркую кучу, которая не может не броситься всем в глаза; но, кроме этого, нужны еще оружие и вожди.

Для бунта сойдут и топоры, и вилы, и простые колья; для восстания же необходимо, хотя бы в ограниченном количестве, то самое оружие, которое является средством физического угнетения народа. Это, мне кажется, неперенный закон восстаний. И вождями должны быть

люди, хорошо знакомые с употреблением оружия.

В севастопольском восстании все эти данные были налицо. Склад оружия, правда очень небольшой, имелся; кроме этого склада, оружие было у восставших на руках. Вождями восстания были матросы унтер-офицерского звания (квартирмейстеры). Что же касается до горючего материала, то он, конечно, был в изобилии везде в России; здесь же, в Севастополе, творились тогда властями в целях личной наживы такие страшные безобразия, какие и полагались на далекой окраине, не весьма давно приобщенной к государству.

Прежде всего возникает вопрос: была ли действительно чума в Севастополе в 1829–1830 годах? Старики единогласно утверждают, что не было, и называют эту «эпидемию» довольно метко «карманной чумой», то есть просто способом для чиновников набивать себе карманы на предохранительных от заноса чумы карантинных мерах.

Казалось бы, как можно набить себе карман на чуме? Но для русского чиновника, заматерелого взяточника и казнокрада, всякий повод есть повод к наживе, и ни один не плох. Чума так чума, и при чуме, дескать, живы будем.

При императоре Павле, рассказывают, был один чиновник, который все добивался получить место во дворце: «Ах, хотя бы за канареечкой его величества присмотр мне предоставили! Потому что около птички этой желтенькой и я, и моя супруга, и детишки мои — все мы преотлично прокормимся!»

А чума — это уж не птичка-канарейка; на борьбу с чумой, появившейся будто бы в войсках, воевавших с Турцией, а потом перекочевавшей в южные русские порты, ассигнованы были правительством порядочные суммы, и вот за тем именно, чтобы суммы эти уловить в свои карманы, чиновники готовы были любой прыщ на теле матроса или матроски, рабочего или поденщицы признать чумой, а население Севастополя засадить в карантин на всю свою жизнь: так, чтоб и женам бы хватило на кринолины, и детишек бы вывести в люди, и на преклонные годы кое-какой капиталец бы скопить...

Вот этот-то бесконечный карантин, — «канарейка» чиновников, — и ожесточил беднейшее рабочее население слободок: Корабельной; Артиллерийской и некоего «Хребта беззакония» (меткое название!),

которого ныне уже нет и в помине. Это была тоже слободка, расположенная по хребту самого южного из трех севастопольских холмов; населялась она бесчинным, «беззаконным» образом, без спроса у начальства; жили там в землянках и хижинах (самого нищенского вида) базарные торговки, пришлые рабочие (грузчики, сапожники, поломойки)... Этот «Хребет беззакония» по «усмирению» восстания приказано было графом Воронцовым уничтожить, — и его уничтожили, и стало место пусто. А домишки Корабельной слободки, также и Артиллерийской остались, только были секвестрованы и потом продавались с торгов.

Дело было в том, что главное население этих слободок, — семейства матросов действительной службы и отставных, — жило летними работами в окружающих Севастополь хуторах, карантин же отрезывал им доступ на эти работы, обрекая их тем самым на голод зимой. Кроме того, замечено было, что через линию карантина отлично пробирались жители собственно Севастополя, главным образом офицерство: для них, значит, существовали особые правила; они, значит, передать чуму дальше, на север, никак не могли. Карантинные же и полицейские чиновники получали по борьбе с чумой особые суточные деньги — порядочную прибавку к их жалованью. Кроме того, на их обязанности лежало снабжать продовольствием жителей «зачумленных» районов, а чуть дело дошло до «снабжения», тут уж чиновники не давали маху. Они добывали где-то для этой цели такую прогорклую, залежалую муку, что ее не ели и свиньи. Кроме карантинных и полицейских чиновников, хорошо «питались чумою» и чиновники медицинского ведомства, которые, конечно, и должны были писать в бумагах по начальству, что чума не только не прекращается, но свирепствует все больше и больше, несмотря на принимаемые ими меры.

Какие же меры принимались этими лекарями? Правда, с того времени прошло уже почти четверть века, но и для того жестокого времени меры эти кажутся невероятными.

Подозреваемых по чуме (так как больных чумою не было) отправляли на Павловский мысок, и на это место, по рассказам всех, кто его видел, смотрели, как на готовую могилу.

Чума — болезнь весьма скоротечная, но там умудрялись держать «подозрительных» даже и по два месяца, а был и такой случай, когда держали целых пять месяцев!

Большинство умирало там, так как не все же были такие исключительные здоровяки, чтобы выдерживать режим мыска месяцами. А так как туда отправлялись не только подозрительные по чуме, но и их семейства полностью, до грудных детей и глубоких старцев, то часто вымирали там целые семьи.

Наконец, кем-то из старших врачей изобретено было поздней осенью 1829 года, как предупредительная мера против заражения чумой, поголовное купанье в море жителей Корабельной и Артиллерийской слободок и «Хребта беззакония»! И это подневольное купанье продолжалось всю зиму, благо вода в бухте не замерзала. Как же можно было не заболеть от этого всеми простудными болезнями! А чуть человек заболел, он уже становился «подозрительным по чуме».

Если бы я услышал это от кого-нибудь одного, я принял бы это, пожалуй, за досужую выдумку; однако то же самое говорили мне многие.

Народ терпел. Правда, это был народ весьма напрактикованный именно в терпении. Ведь тогда при главном командире Черноморского флота, которого иные называют еще «гуманным», — адмирале Грейге, матросов за пустые провинности по службе раздевали донага зимою в мороз, привязывали к обледеневшему оружию и избивали линьками так, что иногда снимали с пушки заоченевший труп.

На Павловском мыске больные разными болезнями содержались в холодном и сыром сарае, как будто бы только затем, чтобы убедить высшее начальство в неблагополучии Севастополя именно по чуме: смертность благодаря повальному купанию в море и сараю на мыске была огромная, количество лиц, заинтересованных в карантине, росло, так как все увеличивались команды оцепления, которые или состояли из воинских частей, или из местных окрестных татар, но под командой офицеров, получавших суточные деньги за полное ничегонеделанье.

Кроме чиновников, наживались на этом деле еще и «мортусы» — люди

в просмоленной одежде, признанные необходимыми для борьбы с чумной заразой.

Эти мортусы не только всячески обирали народ, пользуясь своей безответственностью, но еще и ускоряли смерть больных какими-то снадобьями, которые выдавались ими за лекарство, а в одном семействе они будто бы попросту придушили старушку, которая ни за что не хотела отправляться на Павловский мысок.

Уцелели в памяти стариков и фамилии преступников-врачей: Ланг, Шрамков, Верболозов и другие. Купанье в море введено было старшим врачом Лангом.

Верболозову будто бы пригляделась одна красивая матроска, у которой было трое детей, но когда она отказала ему в его домогательствах, он немедленно объявил ее чумною и отправил в знаменитый сарай на мыске вместе с детьми. Там им дали каких-то ядовитых конфет, присланных Верболозовым, и все четверо умерли.

Я, конечно, записываю двадцатую долю того, что слышал из разных уст.

Народ терпел все издевательства над собою больше года; наконец терпение его лопнуло. Народ восстал. Упоминают старики о какой-то «Доброй партии», которая будто бы руководила восстанием, но сведения о ней почему-то туманны.

Правда, в восстании замешано было несколько офицеров младших чинов как флотских, так и армейских; может быть, они имели какое-нибудь отношение к декабристам? Во всяком случае для меня не ясно, что это была за «Добрая партия».

Восстание разразилось в начале июня 1830 года. Важно то, что оно подготовлялось, а не произошло стихийно. Следует отметить еще и то, что начальство узнало о подготовке восстания потому, что один из вожаков восстания — Кузьмин — обучал пешему строю матросов на узеньких улочках Корабельной слободки. Однако это делалось им с целью. Этим притянута была цепь военной охраны к Корабельной слободке, а восстание началось в городе, который благодаря такому маневру остался без войск.

Незадолго перед восстанием один матрос с Артиллерийской слободки не захотел, чтобы отправляли в карантин его жену и дочь, которых

карантинный чиновник с лекарем Верболозовым при обходе дворов признали чумными, хотя они были больны, судя по описанию признаков их болезни, обыкновенным рожистым воспалением, от чего скоро и выздоровели. Против матроса этого, конечно, не замедлили употребить силу. Он же начал отстреливаться. Когда он выпустил все свои патроны, его схватили, и за вооруженное сопротивление генерал-губернатор Севастополя Столыпин приказал расстрелять его без следствия и суда у ворот его дома.

Этот случай жестокого произвола сильно двинул вперед дело восстания. Между прочим, именно тогда-то передавалось из уст в уста, что стоит только начать восстание, подымется весь Крым против царя. К восставшим жителям слободок и «Хребта беззакония» присоединились рабочие двух флотских экипажей, много матросов, даже солдаты из частей, стоявших на охране порядка, так что называть это восстание «бабьим бунтом» можно было только из чисто политических видов, чтобы не придавать ему большой огласки и не выдать его большого значения, хотя несомненно, что это восстание было образцом для восстания в новгородских военных поселениях и других подобных.

Но по общим воспоминаниям матроски и жены рабочих действовали тогда не только не хуже своих мужей, но часто бывали и впереди них. Так, женщины звонили в набат к началу восстания на колокольне слободской церкви; женщины были в передних рядах отряда восставших, который шел к дому Столыпина, приговоренного к смерти.

Было всего три отряда восставших: первый — под командой квартирмейстера Тимофея Иванова, которого можно считать самым авторитетным лицом среди вождей восстания; второй — под командой яличника Шкуропелова, отставного квартирмейстера, и третий — под командой Пискарева, унтер-офицера одного из флотских экипажей. Из женщин запомнили Семенову, вдову, у которой забрали в карантин и там уморили двух мальчиков. Кузьмин, обучавший все три отряда военному строю, был шкиперский помощник.

Восставшими были убиты Столыпин, один из карантинных чиновников Степанов, который особенно обирал жителей слободки и, не выдавая

им сена на лошадей, скупал тех, отощавших, за полнейший бесценок, и еще несколько чиновников. Верболозов спасся, переодевшись в мундир своего денщика.

От коменданта города, генерал-лейтенанта Турчанинова, восставшие взяли расписку, что в Севастополе чумы не только нет, но и не было. Такая же расписка была дана в соборе и протопопом Софронием.

Мало понятно, зачем именно брались эти расписки. Может быть, восставшие просто хотели подвести некоторые законные основания для своих действий, для казни ненавистных им людей? Но во всяком случае в первый день восстания власть в Севастополе была в их руках. Правда, в городе было до тысячи человек солдат с их офицерами, при них даже и три пушки, но эти солдаты, хотя и имели задачей охранять «порядок» в городе, отнюдь его не «охраняли». Напротив, часть из них ушла из Севастополя, другая часть смотрела на восстание совершенно спокойно, а третья даже просто пристала к восставшим.

У матросов, участников восстания, были ружья со штыками и патроны; небольшой склад оружия оказался на «Хребте беззакония», — его разобрали по рукам. Так вооруженные восставшие представляли собою довольно внушительную силу, но на них вели пять батальонов солдат, которые стояли раньше в оцеплении у Корабельной слободки. Однако, когда полковник Воробьев, который их привел, приказал им стрелять по восставшим, несколько человек выстрелило вверх — и только. Тогда матросы кинулись на фронт солдат, вырывали у них ружья и кричали:

— Показывайте, где у вас офицеры-звери: мы их сейчас уьем!

Полковник Воробьев был выдан солдатами и убит, а одного из своих офицеров, штабс-капитана Перекрестова, солдаты даже расхвалили, будто он был для них очень хорош.

Вожаки восстания ухватились было за этого штабс-капитана, не примет ли он над ними главного командования, но Перекрестов отказался. Это очень ясно показывает, что ни Кузьмин, ни Иванов, ни Пискарев, ни Шкуропелов не представляли, что им делать дальше, после того как они захватили власть в Севастополе.

Они громили квартиры своих врагов, ходили с обысками по домам,

разыскивали их всюду, но восстание их не росло с тою быстротой, какой им хотелось. Напротив, росли только силы окружавших их войск.

Коротко говоря, восстание было скоро подавлено, и началась царская расправа. Следствие вели две комиссии: адмирала Грейга, более благожелательная к восставшим, желавшая все-таки разобраться в причинах восстания, для того, впрочем, чтобы свалить вину за него с чинов морского ведомства на чинов карантинного; и графа Воронцова, генерал-губернатора всего юга России, который хотел обратного: выгородить карантинных чиновников, ему подведомственных, и обвиновать морское ведомство.

Возобладал, конечно, любимец царя Воронцов, тем более что царю ведь не важно было, разумеется, чем вызвано восстание, а важно было только наказать поскорее восставших.

И они были наказаны жестоко.

Семь человек были приговорены к расстрелу; среди них Иванов, Пискарев, Шкуропелов. Кузьмину смертную казнь заменили шпицрутенами в количестве трех тысяч! Вынес ли он это наказание, неизвестно.

Расстреливали семерых на Корабельной и Артиллерийской слободках и на «Хребте», разбив для этого их на три партии. Так как казнь должна была привести оставшихся в живых к должному устрашению, приказано было произвести ее днем и сгонять на нее народ хотя бы и палками, если не захочет идти по доброй воле.

Около тысячи шестисот человек было присуждено судом к разным тяжелым наказаниям: к очень большому количеству палок, к двадцатилетней каторге, к арестантским ротам и прочему.

Имущество всех было конфисковано.

Любопытно, что пострадал и генерал Турчанинов, давший расписку, что чумы нет и не было. Его тоже судили и приговорили к исключению со службы, но царь нашел этот приговор не соответствующим тяжести его «преступления» и разжаловал его в солдаты!

Но, кроме участников восстания, были ведь все-таки из севастопольских домохозяев, солдат и матросов такие, которые в нем не участвовали по той простой причине, что их не было в то время в

Севастополе.

Их не судили, конечно, но царь был не таковский, чтобы о них забыть. Он приказал адмиралу Грейгу выслать из Севастополя всех нижних чинов, имевших там домишки, и даже таких, которые хотя не имели домишек, но были женаты, — значит, надеялись их иметь со временем. Ребятишек же их мужского пола старше пяти лет немедленно отобрать и отправить в батальоны кантонистов. И вот несколько тысяч человек, ничем не причастных к восстанию, были отправлены иные в Херсон, иные в Керчь, но большая часть за три тысячи верст — в далекий холодный Архангельск, по способу пешего хождения, на зиму глядя, в чем были, иные совсем босые и в одних рубахах.

Домишки же их были конфискованы в пользу казны и потом продавались с торгов... Вот как искоренял царь дух своеволия и непокорства! Достойный ученик деспотов древней Ассирии!

В общем было выслано тогда из Севастополя тысяч шесть. Семьи были разбиты, дети оторваны от родителей...

Были, впрочем, говорят, случаи, что иные женщины, испугавшись высылки в Архангельск, забрав своих ребят, бежали с ними в крымские леса на горах. Но вопрос: чем и как могли они там пропитаться? Воронцов опубликовал приказ, чтобы никто не смел таких беглых принимать на работу в имениях и хуторах; поэтому часть из них была изловлена и представлена начальству, другая часть погибла, ослабев от голода до того, что не могла уж выбраться из лесов.

Итак, восстание было жестоко подавлено. Народ мечтал избавиться от ига самодержца-царя. Но когда к Севастополю пришли английская, французская и турецкая эскадры с десантами, то те же самые матросы и солдаты свирепо защищают теперь свою землю и на ней того же самого нисколько не изменившегося к лучшему царя...»

Дебу только что хотел округлить свои мысли по поводу восстания 1830 и войны 1854 года, но в это время вошел в канцелярию со двора и не сняв шинели поручик Смирницкий, адъютант батальона, исполнявший по недостатку офицеров еще и обязанности казначея. Дебу поспешно накрыл свою тетрадь деловой бумагой и сделал вид,

что усердно знакомится с ее содержанием.

Смирницкий, впрочем, был в таком возбужденно приятном настроении, что не заметил бы и без того его дневника на столе, а деловая бумага была и у него в руках.

— Не знаю, умеете ли вы верхом ездить, — сказал он весело, — а то я мог бы, пожалуй, взять вас с собою в Бахчисарай.

— Надолго ли? И зачем именно? — в недоумении спросил Дебу.

— Да вот, — махнул своей бумагой Смирницкий, — поскольку наши провиантмейстеры не справились с делами доставки нам фуражного довольствия, предлагается всем отдельным частям получить на фураж деньги и довольствовать лошадей своих, как они знают.

— Гм... А останутся ли в живых лошади при таком способе довольствия? — усомнился в полезности этой меры Дебу.

— Не ваше писарское дело рассуждать об этом, — притворно нахмурив густые брови, сказал Смирницкий. — И прошу иметь в виду, что вы можете поехать со мною только в качестве... как бы это сказать... ну, ординарца, что ли. Предположение насчет того, чтобы взять вас, я уж командиру батальона высказывал, и он против этого ничего не имеет... Почему-то даже добавил, что так будет лучше.

— Для меня, разумеется, лучше, — повеселел Дебу. — Тем более что я ни разу еще не видел Бахчисарая как следует. Проходил, правда, через него два года назад, но по этапу.

— Ваши личные соображения по этому поводу в расчет не принимались, милостивый государь! — шутливо отозвался Смирницкий. — Мы заботимся исключительно о пользе службы... Значит, решено. Завтра рано утром едем.

## II

Спорый дождь, холодный упругий ветер, грязь, из которой с трудом вытаскивали ноги верховые лошади, а кое-где застрявшие прочно в этой грязи татарские мажары с выбившимися из сил подводчиками и волами, — такова была дорога к Бахчисараю, по которой ехали поручик Смирницкий и младший унтер-офицер в должности писаря петрашевец Дебу, Ипполит Матвеевич.

— Представьте, что волы везут сено для севастопольских лошадей, —

говорил Смирницкий. — Откуда они его должны везти? Возле Севастополя на сто верст все сено уже съедено. Значит, откуда-нибудь из-под Перекопа или из-под Керчи... Предположим, что из-под Перекопа, — верст за двести. Они везут, но ведь они не бегут с этим сеном, а идут шагом. Сколько же верст они могут сделать в день по такой вот дороге?

— Верст двадцать, не больше, я думаю, — ответил, добросовестно подумав, Дебу.

— Ого! Двадцать! Можно сказать, хватил с горя! — рассмеялся Смирницкий. — Дай бог, чтобы десять сделали! Ведь то здесь застрянут, то через версту застрянут... А кормить их надо как полагается?

— Разумеется, надо.

— Сколько положите сена на пару волов по такой работе и по такой погоде?

— Не меньше пуда, я думаю.

— Мало, что вы! Считайте хоть — худо-бедно — полтора пуда на сутки... Итого, на сто верст дороги считайте волам на прокорм пятнадцать пудов... Это худо-бедно, имейте в виду. А сколько сена пара волов может везти по такой дороге?

— Пудов пятьдесят?

— Не повезут пятьдесят, что вы! Дай бог, чтобы тридцать... Значит, протащились сто верст — полвоза съели. А до Севастополя еще верст сто. Итак, когда предстанет перед их глазами Севастополь, они будут тащить уже пустую мажару... Возникает вопрос: есть ли смысл татарину везти сено из-под Перекопа в Севастополь; чтобы скормить его своим же волам по дороге? А на обратную дорогу где им прикажете взять сена?

— Смысла, конечно, нет, — согласился Дебу. — Гораздо умнее сидеть дома и самому не мучиться и волов не морить.

— Вот видите! Я тоже думаю, что так будет умнее; однако лошади в Севастополе должны же что-то такое кушать? Должны, иначе погибнут. Как же именно мы можем сами добывать для них фураж, если от этого отказалось даже интендантство? Это уж называется: «Отгадай, моя родная, отчего я так грустна...»

— Однако же командиры частей на это согласились!

— А как же они могут не согласиться? Приказано получать деньги на фуражное довольствие, как же они смеют не соглашаться получать деньги? Да и расчета нет не соглашаться: ведь это же не в атаку идти.

— Ну, хорошо; вот вы получите деньги на сено. Как же вы будете доставать это сено?

— А как люди будут доставать, так и мы, — улыбнулся Смирницкий. — Что же нам тут новые пути какие-то открывать, тем более что часть мы небольшая и лошадей у нас одна-две — и обчелся.

Спорый дождь мочил неустанно. Ветер пронизывал; густая грязь чавкала плотоядно, точно все покушалась захватить поглубже в свою пасть лошадиные ноги. Только к вечеру удалось кое-как добраться до Бахчисарая.

— Нечего сказать, приятная прогулочка! — ворчал Смирницкий, подъехав к татарской кофейне, где можно было переночевать, и, слезая с совершенно замученного, мокрого, как из речки, коня, добавил, не без язвительности в сторону Дебу: — Вот и везите на волах сено по такой погоде за двести верст!

В кофейне было невообразимо тесно и так накурено, что каганцы из бараньего сала почти отказывались светить. В той же кофейне расположились и некоторые другие офицеры, тоже приемщики фуражных денег, приехавшие раньше; они уже узнали откуда-то неутешительную новость, что в бахчисарайском интендантстве денег не выдают, ссылаясь на то, что их не имеют, а отсылают в Симферополь.

Кое-как переспали ночь, прикорнув в углу на лавке; утром же поручик Смирницкий, оставив лошадей на попечение Дебу, один и пешком отправился за деньгами, но скоро вернулся злой, сыпал ругательства по адресу интендантов, которые действительно уверяли, что у них ни гроша, и торопился отправиться в Симферополь, чтобы туда приехать засветло.

— Так мне и в этот раз не довелось осмотреть столицу ханов, — сетовал Дебу.

— Черт с ней, с этой столицей! И что вам тут захотелось смотреть! Бараньих тушек не видели? Пока будем тащиться по улицам, можете

налюбоваться вдоволь!

Действительно, искрасна-белые, жирные по-осеннему бараньи туши, висевшие на деревянных крюках головами вниз, виднелись тут на каждом шагу, так часто попадались мясные лавчонки и рундучки.

Улицы были узкие и гораздо более грязные, чем дорога сюда от Севастополя, то есть грязь здесь была еще глубже и гораздо зловонней. И решительно в каждом татарском домишке, выходявшем на улицу, была какая-нибудь да торговля: продавали красные и зеленые сафьяновые туфли, нагайки, бурки, чуреки, яблоки, груши... Пробриться куда-нибудь в этих улицах иногда было почти невозможно, до того они были запружены казенными зелеными фурами и обывательскими мажарами и подводами. Сено все-таки везли какие-то смелые или легкомысленные бородатые люди в бараньих шапках, то и дело крича на своих волов:

— Цоб, цоб!..

На щеголеватых и очень частых минаретах тоже кричали звонкоголосые татарские мальчуганы-подростки — муэдзины. Попадались офицеры верхами на таких же заляпанных грязью лошадях, как и у самих Дебу и Смирницкого. Все были похожи на белок в колесе: куда-то очень спешили и застревали в тесноте и грязи, сколько ни суетились.

Гораздо больше часу ушло, пока выбрались, наконец, из этой бывшей столицы крымских Гиреев{32} на дорогу, но эта дорога до Симферополя была не менее грязна, чем дорога до Севастополя, так что засветло приехать в центральный город Крыма не удалось. Не сбылись и мечты о чистой отдельной комнате в гостинице. Ночевали, правда, в гостинице, а не в кофейне, но поместиться пришлось в комнате, уже занятой ехавшими в Севастополь с севера двумя офицерами, любезно уступившими им угол за рассказы о том, что творится в осажденной крепости. Между тем усталым от дороги людям гораздо больше хотелось спать, чем что-нибудь рассказывать, да и порадовать новых людей было нечем.

Дебу же в обществе незнакомых офицеров чувствовал себя очень неловко, был молчалив и старался держаться в тени, как подлинный нижний чин, писарь и ординарец поручика.

Но утром, оставив лошадей под присмотром дворника гостиницы, Смирницкий взял с собою своего спутника в интендантство.

Сюда набралось уже порядочно офицеров-приемщиков.

— Ну что, господа, как здесь? — спросил Смирницкий, подходя к группе из нескольких человек. — А то я был в Бахчисарае, там денег совсем не оказалось, как это ни странно, и послали сюда.

— Здесь тоже может не оказаться, — мрачно ответил за всех преувеличенно усатый и, видимо с похмелья, хриплоголосый гусарский штаб-ротмистр.

— Очень на то похоже, что-то очень водит здешний управляющий, — намекающе подтвердил другой, артиллерийский поручик.

— Жмот! — выразительно сжал кулак третий.

— Однако как же вы так? Зачем тогда выдали нам требование на деньги?

— На всякие требования есть свои контртребования, — прохрипел штаб-ротмистр.

Смирницкий пожал плечами, ничего не поняв из этих намеков, и решил начать действовать, не теряя времени.

В Симферополе того времени числилось перед началом военных действий в Крыму тысяч восемнадцать жителей. Из них тысяч двенадцать во главе с самим губернатором Тавриды вздумали поспешно бежать на север после неудачного для русских сражения на Алме, полагая, — не без оснований, конечно, — что интервенты двинут колонну своих войск на Симферополь. Когда же обнаружилось, что вся десантная армия устремилась к югу, чтобы с одного удара захватить Севастополь («Взять Севастополь — минутное дело!» — говорил тогда публично Наполеон III), беглецы получили приказ Меншикова немедленно вернуться в город и строя жизни в нем отнюдь не нарушать; губернатор же — генерал Пестель — был за это вскоре смещен и заменен Адлербергом.

Теперь население города удвоилось, а количество всяких «присутственных мест» в нем, то есть учреждений, утроилось, если не учетверилось. Поэтому интендантство, центральное в Крыму, занимало всего три комнаты на втором этаже каменного белого дома. Прямо от входа была канцелярия, в ней чиновники интендантства и писаря

бойко щелкали на счетах, проверяя какие-то бумаги, подсчитывая деньги по ведомости на очень длинных листах.

К одному из чиновников подошел Смирницкий с вопросом, где управляющий.

— А вот пожалуйста сюда, — кивнул на закрытую дверь чиновник, взглянув на него одним только глазом.

Смирницкий отворил дверь и очутился в кабинете с мягкой мебелью, имеющей совершенно домашний вид. Перед столом в кожаных креслах сидел важного и сытого вида весьма пожилой человек с сильно сидящими бакенбардами и Владимиром на шее, в форменном сюртуке, вверху небрежно расстегнутом, с белыми холеными руками и несколько прищуренными, как бы утомленными уже в самом начале трудового дня своего, глазами табачного цвета.

Но он был не один: у него за столом сидело уже два офицера, в которых Смирницкий чутьем угадал таких же приемщиков денег, как и он.

— Что вам угодно? — обратился к нему управляющий.

— Вы господин управляющий?

— Да-с, так точно, — ответил управляющий и глядел выжидательно.

— У меня вот требование на фуражные деньги, — быстро сунул пальцы в карманы и вытащил бумажку Смирницкий. — Могу ли я их получить сейчас?

Управляющий взял требование двумя протянутыми пальцами, сделал весьма заметный глубокий вздох, который должен был показать этому новому офицеру, как ему тяжело возиться со всеми ими, приезжающими откуда-то с разными там требованиями, пробежал его бумажку утомленными глазами в прищуренных толстых веках и положил ее под самый низ подобных же бумажек, грудой лежащих у него на столе.

Смирницкий стоял, наблюдая его и искоса офицеров за его столом, хотя и пехотинцев, но что-то уж очень щегольски одетых, от чего он успел уже отвыкнуть в Севастополе.

— Так-с! — глубокомысленно произнес, наконец, управляющий. — Вы спрашиваете, можете ли получить вы деньги? Да, конечно, можете, если... вообще это всецело от вас самих зависит: захотите получить,

получите.

Смирницкий удивленно поглядел на пехотинцев, но они старались глядеть — один на кожаный диван, другой на ломберный столик перед этим диваном.

— Я, понятно, хочу их получить, и как можно скорее, — улыбнулся слегка Смирницкий. — Я и то потерял напрасно день, а лошади наши уже на голодном порционе.

Он думал, что этих его слов вполне довольно, чтобы управляющий сделал распоряжение о выдаче денег. Но случилось совершенно непонятное. Управляющий заговорил, обращаясь к сидевшим у него щеголям:

— И вот... продолжим о том, о чем я начал... Я принимаю у этих поставщиков, двух братьев, спирт согласно пробе — сто сорок два трехведерных бочонка, и отправляю в Херсон для дальнейшего следования этого груза в Одессу для нужд армии, а из Одессы, — представьте вы себе! — получаю бумагу, что в означенных ста сорока двух бочонках вместо спирта оказалась не-под-дель-ная морская вода!

Пехотные офицеры учтиво-возмущенно ахнули, а управляющий, полюбовавшись эффектом, какой он произвел у них, удостоил и Смирницкого косвенным взглядом.

— Выходит, что лучше было бы для армии, если бы спирт был отправлен сухим путем, — счел нужным отозваться на этот косвенный взгляд Смирницкий.

— Тогда бочонки пришли бы в Одессу сухими! — живо подхватил один из пехотных щеголей.

— Или с водой колодезной, все-таки более пригодной для питья, — вставил другой.

Управляющий выслушал всех трех офицеров, как человек, которому незачем торопиться, потому что эффектный конец он уже приготовил заранее, и сказал, наконец:

— Дело было сделано довольно чисто: поди доказывай, где именно вылили спирт из бочонков, натурально, в другие подставные бочонки и влили морскую воду! И все-таки я это дело распутал!.. И вся хитрость была тут проявлена... как бы вы думали, в чем?

И щеголи и Смирницкий, переглянувшись, одинаково пожали плечами и выпятили губы в знак того, что в эту хитрость проникнуть они не в состоянии, особенно так вот сразу, экспромтом.

Налюбовавшись их затруднением, управляющий почесал мизинцем правую бровь и сказал расстановисто:

— Хитрость была в том, что хотя вода-то и была неподдельная морская, но влита она была в бочки на суходустье и от моря довольно далеко, а именно в Каховке, на Днепре.

— Вот тебе на!.. Как же туда попала морская вода? — удивились щеголи.

И, обращаясь уже только к ним, управляющий Симферопольским отделением интендантства начал подробно объяснять, как заранее была подготовлена эта операция некими злонамеренными людьми, которые имели в виду, конечно, сбить следственную комиссию с толку, и как только благодаря ему дело было распутано. Разумеется, он рассказывал это затем, чтобы показать, как трудно быть интендантом, как мог бы он сам пойти под суд, если бы не затратил много усилий и даже свои личные деньги, чтобы распутать этот хитро завязанный узел.

Смирницкий стоял во все время этого длинного рассказа. Правда, его не на что было посадить в этой комнате, кроме как на диван, но это его не то что обидело, а достаточно утомило, и он спросил, наконец, выбрав момент, интенданта:

— Когда же все-таки могу я явиться за причитающимися нам деньгами?

Вопрос этот, видимо, был очень неприятен управляющему. Он даже как-то досадливо передернул щекой, точно на нее села муха. Он не ответил на него, хотя перестал и рассказывать о таинственном приключении ста сорока двух бочонков спирта. Он занялся кучей требований, лежавшей у него на столе. Смирницкий понял даже это так, что он не вовремя остановил управляющего, имеющего все-таки немалый чин и значение. Но делать было уж нечего; надо было продолжать, что начал. И он спросил снова:

— Может быть, сейчас же я и могу получить деньги? Это было бы очень хорошо.

И вдруг, повернувшись к нему уже в полный оборот, управляющий спросил в свою очередь и, как говорится, в упор:

— А вы сколько намерены дать мне процентов?

Тон вопроса был совершенно спокоен и деловит и предполагал ответ столь же деловито спокойный, но Смирницкий был удивлен этим гораздо более, чем эффектной историей с морской водой, очутившейся сразу в ста сорока двух трехведерных бочонках взамен спирта.

— Процентом? — повторил он, недоуменно поглядев при этом на щеголей-пехотинцев, сидевших усидчиво. — Каких же именно процентов и с какого капитала?

— Вы, молодой человек, видно, никогда раньше не получали денег для своей части, — отеческим тоном отвечал управляющий, — поэтому я вам разъясню суть этого дела. Я вас спрашиваю о том, сколько вы мне, лично мне, — поняли? — уплатите за то, что я прикажу отпустить деньги для вашей части... Должен вас предупредить, что мне платят обыкновенно восемь процентов с отпускаемой суммы.

— За что же, позвольте! — чрезвычайно удивился Смирницкий. — Ведь это же, кажется, и есть ваша единственная обязанность — отпускать деньги на нужды армии?

Щеголи-пехотинцы поглядели на него с любопытством, но тут же скромно отвели глаза, а управляющий сказал наставительно:

— Я гораздо лучше вас, молодой человек, знаю свои обязанности. Но если восемь процентов кажется для вас много, — правда, и сумма у вас небольшая, — то я, так и быть, согласен взять с вас только шесть процентов, но уж меньше ни-ни!

— Да я и полпроцента не дам! — разгорячился Смирницкий. — Я должен получить столько, сколько значится в требовании, и больше ничего!

— Тогда вы ничего и не получите, — спокойно сказал управляющий; он покопался неторопливо белыми холеными руками в куче бумажек, достал требование, привезенное несговорчивым поручиком, протянул ему и добавил: — Можете ехать в свою часть и сказать, что денег вы не получили, потому что их нет.

— Как же так нет, когда ведь есть же деньги! — вскипел Смирницкий.

— А вы почему же знаете, есть или нет? У нас есть действительно пятьсот тысяч, но-о...

— Вот видите! Пятьсот тысяч!

— Но-о требований представлено нам на полтора миллиона, — поняли? Вы горячитесь, а дела не знаете. Берите же свою бумажку!

— Я знаю только то, что буду на вас жаловаться! — выпалил Смирницкий, отнюдь не протягивая руки за бумажкой.

— Жалобой угрожаете! — покивал головой управляющий, улыбнувшись и поглядев на других офицеров. — Что значит неопытность! Берите же ваше требование назад, говорят вам, и поезжайте с богом домой.

— Требования я назад не возьму, а рапорт по начальству напишу! — твердо сказал Смирницкий.

— Что же вы такое напишете в рапорте своем? Эх, молодость! — управляющий покачал лысой спереди седую головой. — И думает ведь, что я какую-то беззаконность способен допустить, прослужив беспорочно чуть не сорок лет!.. Требования на полтора миллиона, денег в наличности полмиллиона, — что из этого следует?

— Следует то, что деньги надобно выдать, — вот что следует!

— Кому именно выдать? Этого вопроса вы себе не ставите?.. Ведь ваше начальство не научило меня, как из полмиллиона сделать полтора миллиона? Нет? Вот то-то и есть! Значит, кому именно дать деньги, кому не дать, зависит от меня и столько же от вас, господа! Уплатите мне за то, чтобы получить сейчас деньги, получите деньги, не уплатите — не получите. Разговор считаю оконченным. За ним должны будут последовать действия.

— А действия будут вот какие, — снова вскипел Смирницкий. — Приглашаю вас, господа, в свидетели того, что вы слышали тут! — обратился он к офицерам.

Но один из щеголей-пехотинцев только крякнул, другой же сказал игриво:

— Мы в чужие семейные дела не мешаемся.

— В семейные, да, — подхватил управляющий засмеявшись. — В келейные, так сказать. Я ведь с вами келейно говорю, а вы каких-то там свидетелей ищите! И делаете вид, что я не знаю, куда пойдут эти

деньги, какие вы получите!

— На фураж пойдут, на фураж для лошадей, вот куда! — не сдержав голоса, выкрикнул Смирницкий.

— В карманы пойдут, в карманы! — в тон ему повысил голос и управляющий.

— Ну, если так, то вы... Знаете, кто вы такой?

— Берите вашу бумажку и поезжайте! — протянул ему требование управляющий. — Кто я такой, я отлично знаю, а от резкостей рекомендую вам воздерживаться, молодой человек!

Теперь он был уже не благодушен, и старые табачного цвета глаза его в толстых веках блестели тускло и зло.

Смирницкий вышел, оставив свою бумажку в его руке, и, увидев в канцелярии Дебу, говорившего о чем-то в стороне с писарем, подошел к нему, еле сдерживаясь, чтобы не выругаться весьма крепко и весьма громко.

— Ну, что? — спросил его Дебу. — Получаем деньги? Что-то вы очень покраснели...

— Какой черт «получаем»! У такого подлеца получишь! — прорвался Смирницкий, а писарь таинственно тянул Дебу за рукав к двери, приглашая и распалившегося поручика кивком головы.

Они вышли за дверь в маленький коридорчик, и писарь заговорил вполголоса:

— Тут у нас больше кавалеристы получают, а они люди богатые, за процентом не стоят. Зря проканителитесь, ваше благородие, у нас.

— Так что же мне, без денег в Севастополь ехать?

— Зачем без денег? Деньги свои вы получите, только вам в Бахчисарай поехать надо, вот куда.

— Спасибо, голубчик, я только что оттуда! Тут хоть полмиллиона в наличности, а там так совсем ничего.

— Там завтра миллион будет, — зашептал писарь. — Мы миллион получаем, и они тоже. Там живо получите.

— Но ведь управляющий ваш на то и ссылается, что денег мало, а если он миллион получает, то...

— Все равно не добьетесь... Лучше в Бахчисарай вам ехать.

— А требование свое я здесь оставил, как с этим быть?

— Это пустяк дело: я его выручу сейчас.

— Придется, кажется, опять по старой дороге грязь месить, а?.. — обратился к Дебу Смирницкий.

— Что ж, ведь к Севастополю поедем, а не от него, — сказал Дебу.

Писарь понятливо направился к кабинету управляющего выручать требование и через несколько минут принес незадачливую бумажку.

### III

Однако не один только Смирницкий и Дебу, многие из приемщиков денег хлынули из Симферополя в Бахчисарай. Пришлось торопиться, чтобы не опоздать. Погода в этот день была солнечная, теплая, лошади шли гораздо бойчее, и в Бахчисарай путники приехали в час дня, так что успели еще навестить интендантство.

Обстановка тут была несколько другая. Управляющий тут, как крыловский сатрап, «все дела секретарю оставил», будучи человеком очень богатым (нажился на Венгерской кампании), дослуживающим свой срок и не желающим портить конца службы несколько все-таки рискованными аферами.

Секретарь же был еще человек молодой, очень речистый и полный завидной энергии; он и любезнейшим образом осаживал натиск большой и крикливой толпы приемщиков-офицеров и выходил из-за стола, за которым сидел, чтобы в укромной комнатке рядом с канцелярией поговорить по секрету с кем-нибудь, делавшим ему таинственно призывные знаки.

Между прочим, не только Смирницкий, вмешавшийся в толпу офицеров, но даже и Дебу от дверей расслышал, как секретарь, делая особые ударения именно на этой фразе, говорил:

— Я никаких злоупотреблений при выдаче денег не допущу, господа, это прошу иметь в виду!

— Что это значит «злоупотреблений»? — обратился Смирницкий к одному артиллеристу. — Не хочет ли он сказать, что совсем не берет взяток?

— Я у него получал уже один раз деньги, — ответил артиллерист. — Он не просит, как в Симферополе, восемь процентов; он довольствуется гораздо меньшим...

— Что злоупотреблением не считает, — закончил Смирницкий.

— Понятно, — улыбнулся артиллерист. — Тем более что он будет вас водить, пока вы сами ему не предложите, а просить не станет... Это вообще очень ловкая бестия.

Секретарь был и с виду человеком, скроенным очень ловко.

Несколько выше среднего роста, гибкий в талии, что называется представительный и умеющий держаться непринужденно, и в то же время не переходя границ приличий, он казался и воспитанным и даже как будто либерального образа мыслей.

— Завтра, завтра! — сказал он Смирницкому, любезнейше улыбаясь.

— Заходите завтра об эту пору, — все будет сделано.

— Но вы хоть требование сейчас примите!

— Непременно, непременно. Давайте ваше требование, сообразим, как и что.

Он быстро пробежал его глазами и сказал как будто с оттенком ласково пренебрежительным:

— Ну, ваше требование совсем легковесное!

— Так что, может быть, вы меня сегодня отпустите, а? — оживился Смирницкий.

— Ах, боже мой! Ведь денег пока еще нет! Если даже они сегодня и придут, то ведь их еще надобно пересчитать, — что вы! Попробуйте-ка пересчитать миллион!

И в тоне его было весьма извинительное превосходство над поручиком, явно никогда не пересчитывавшим даже и ста тысяч кредитками, не только миллиона.

— Странно! — раздумчиво сказал Дебу Смирницкому, когда они поехали по знакомым уже им улицам, узеньким и бездонно грязным, с высокими и старыми, посаженными еще при Гиреях пирамидальными тополями, при взгляде на которые татарские домишки казались еще ниже и еще хуже, чем они были.

— Что же именно из всей этой безалаберщины, в какую мы попали, кажется вам наиболее странным? — со злости витиевато спросил Смирницкий.

— Наиболее странным показался мне не кто иной, как секретарь управляющего здешним интендантством, — в тон ему витиевато

ответил Дебу. — Может быть, это только издали так кажется, но его можно, пожалуй, принять за вполне порядочного человека.

— А вот увидим завтра, какой он порядочный... Пока же не угодно ли вам полюбоваться Бахчисараем. Теперь-то уж у вас времени на это удовольствие хватит... и даже останется.

Но любоваться было решительно нечем. Даже ханский дворец, мимо которого они проезжали, не имел в себе ничего не только величественного, но и просто приглядного. Одноэтажный, в большей своей части несколько затейливой архитектуры запущенный дом, какой мог бы построить от скуки у себя в имении иной чудака-помещик, чтобы пощеголять перед соседями экзотическими своими вкусами, — и только.

Очень резко бросалось в глаза вторжение крикливой, спешащей, возбужденной, конной и пешей толпы в эти апатично тихие сонные улочки, на которых даже и все торговцы около своих товаров сидели совершенно непостижимо безучастно и ко всему столпотворению около них и к тому, чем оно вызвано, и даже к покупателям.

Смирницкому захотелось купить яблок.

— Бери, пажаластам, — сказал ему бородатый татарин в белой чалме поверх шапки, но отнюдь не сдвинулся даже и на вершок с ящика, на котором сидел, чтобы показать свой товар лицом.

Выбрали кофейню несколько почище той, в которой ночевали раньше, а переночевав в ней, отправились на охоту за деньгами.

Увидели к своему неудовольствию, что приемщиков-офицеров значительно прибавилось, главным образом артиллеристов, которые оказывались очень требовательны.

— Сейчас, сейчас, господа! — любезно склоняясь и направо и налево, говорил им секретарь. — Мне не нужно говорить: «Позиции!», «Необходимо скорее!» Я и сам понимаю отлично, что раз вы стоите на позициях, то вам необходимо скорее туда вернуться, — защищать отечество!.. Верно ведь, господа?.. Сейчас мы все проверим, все выясним, — имейте терпение!.. Ведь мы все тоже работаем, господа, вы видите? Ведь не сидим же мы без дела.

Действительно, он имел самый извихренный вид и не то чтобы говорил, а просто сыпал слова скороговоркой и, между прочим, время

от времени, обняв любезно за плечи то одного, то другого из приемщиков, таинственно ему кивавших из-за чужих спин, уединялся с ним на несколько минут в комнатку рядом с канцелярией, выходя оттуда всесторонне сияющим. Однажды даже как будто венчик около его кудрявой головы, какой принято было изображать на иконах, показался поручику Смирницкому. Когда же непосредственно вслед за этим он сам добрался до секретаря, тот изумленно поднял брови:

— Позвольте, господин поручик, но ведь вы же не артиллерист, кажется? — спросил он.

— А вы разве выдаете только артиллеристам?

— Сегодня, да: только им преимущественно... Потому что, знаете ли, позиции, необходимо, и прочее.

— Но позвольте, я ведь тоже, хотя и не артиллерист...

— Имейте терпение, господин поручик, имейте терпение!.. Вы свои деньги получите завтра.

И отошел быстро, даже отпрыгнув вбок, как это умеют делать только козлы.

Смирницкому пришлось согласиться, что артиллерии действительно следует оказать предпочтение, но ждать еще день ему показалось все-таки обидным.

А секретарь вдруг крикнул весело, как командир:

— Артиллерия, подъезжа-ай!

Выдача денег началась.

Смирницкий наблюдал это дело около часу, наконец вышел из духоты к Дебу, оставшемуся на дворе.

— Вот штука-то, — сказал он весьма угрюмо. — Придется побыть в этой дыре еще целый день, черт бы побрал этого секретаря, который вам так понравился!

Однако не день они пробыли, а еще двое суток.

Другие получили деньги, и Смирницкий это видел, но, как только обращался он к секретарю, тот делал озабоченное участливое лицо и говорил любезнейше:

— Ах ты боже мой! Вот и вас еще не отпустил! Ну, уж завтра непременно-разнепременно получите! Запаситесь терпением на один еще денек!

Смирницкий вспомнил, что ему говорил артиллерийский поручик, а кстати представил и сияние и дверь таинственной каморки и сказал вполголоса:

— Послушайте! Может быть, все дело только... в благодарности, а?

Секретарь так и прильнул ухом к его губам, чуть только он решился заговорить вполголоса, и тут же, взяв дружески под руку, повел его в ту таинственную каморку, в которой было много пыльных толстых конторских книг на полках и мало света в тусклом окошечке.

— Чудак вы! — почти прошипел он, но весело. — Чего же вы до сих пор молчали, не понимаю!

— Да ведь трудно было и догадаться, на вас глядя.

— Отчего же трудно? Я ведь, конечно, не для себя тут стараюсь, поверьте!.. Тут, знаете ли, общий котел... Для общей пользы исключительно!.. Служащие, понимаете ли, — жалованье ничтожное... Я лично всего ведь только четыреста рублишек получаю в год! А у меня на четыреста-то одних закусок в год покупается! Нельзя же без закусок: порядочных ведь людей приходится принимать. Жалованье, значит, на закуски уходит, а на жизнь откуда же прикажете взять?.. Ведь не взятка это, а исключительно ведь благодарность за мой личный труд!

— Сколько? — коротко спросил Смирницкий.

— Три процентика, друже, — ласково ответил секретарь. — Идет, а?..

— Идет, отчего же нет? Давно бы сказали, а то...

— А сами не могли догадаться? Эх, на-род! Не знает, зачем голову на плечах носит! Ну, значит, по рукам?

И крепко и радостно пожав длинными пальцами широкую ладонь Смирницкого, он пропустил его вперед в канцелярию, и теперь уже Дебу, если бы был здесь, смог бы, пожалуй, различить сияние над секретарскими кудрями.

— Сейчас, сейчас приготовим вам ордерок, впишем вас в книгу живота... Подождите всего только четверть часика, не больше! — приветливо улыбнулся Смирницкому секретарь и, как козел, бочком отскочил от него к другим, а поручик вышел к Дебу и сказал ему мрачно:

— Черт его знает, эту бестию, пришлось ведь ему обещать три

процента, иначе он нас проманежит тут целый месяц, а потом скажет, что денег уж нет, разобрали, извольте дожидаться, когда новый миллион пришлют.

— Три все-таки не восемь, только как же мы проведем у себя по книгам эти три процента? — задумался Дебу.

— Да уж надо как-нибудь провести... или три процента по книгам, или этого бестию-секретаря! — мотнул головой Смирницкий.

— Ну, уж его-то как вы теперь проведете?

— Никак не представляю, признаться... Ничего, кроме явного скандала, в голову не лезет... А надо бы придумать что-нибудь.

Теперь, когда дело шло уже к получению денег, они появились в канцелярии вместе, так как у Дебу была кожаная сумка через плечо поверх шинели, взятая именно для этих денег.

В канцелярии почти уже не было приемщиков. Секретарь деятельно считал деньги и отстукивал на счетах; Смирницкий, наблюдая за ним, не менее деятельно думал, как бы сделать так, чтобы не дать ему обещанных трех процентов; а Дебу, как писарь, подошел к писарю, вносившему какую-то запись в прошнурованную толстую книгу, и, заглянув в нее, увидел как раз то, что хотел увидеть: против названия их батальона и фамилии поручика — адъютанта и казначея — значилась та самая сумма, какую им нужно было получить по требованию.

Он быстро подошел к Смирницкому и шепнул ему на ухо:

— Подите распишитесь в книге.

Смирницкий сразу понял, что это — выход из положения. Лениво подойдя к писарю, он сказал ему вполголоса:

— Ну-ка, чтобы не терять золотого времени, расчеркнемся пока!

И поставил свою подпись в книге с таким удовольствием, с каким никогда еще не ставил.

А минуту спустя углубленный в расчеты секретарь подозвал его:

— Господин поручик! Пожалуйста, пересчитайте-ка! — и протянул ему пышную пачку кредиток.

Смирницкий считал деньги медленно, чтобы не просчитаться, и, наконец, сказал:

— Странно! По моему счету тут что-то порядочно не хватает.

— Как так не хватает! Что вы! — улыбнулся секретарь. — Миллионы считаем, не ошибаемся, а чтобы каких-то там несколько тысяч не сосчитать правильно!

— Уверяю вас, что не хватает, — спокойно протянул ему пачку Смирницкий.

— А три процента забыли? — шепнул ему в ухо секретарь.

— Ах, вот что! Нет, уж извольте-ка дать мне ту сумму, против которой я расписался, — скромно с виду сказал Смирницкий.

— Как это так расписался? — бросился, сразу изменившись в лице, секретарь к писарю и загремел на него: — Дурак, скотина! Как же ты смел давать расписываться до получения денег?

Писарь только мигал виновато и краснел постепенно от носа до засаленного воротника.

— Это нечестно с вашей стороны, господин поручик! — повернулся к Смирницкому секретарь.

— Отчего же нечестно?.. И уж там судите, как хотите, а денежки подайте сполна! — невозмутимо отозвался Смирницкий.

Секретарь яростно выхватил из-под папки отложенные туда несколько крупных кредиток, швырнул их на стол и ушел из канцелярии, еще раз крикнув на писаря: «Болван, дубина!» А Смирницкий, подобрав деньги со стола, спокойно засовывал их в кожаную сумку Дебу, улыбаясь ему при этом сдержанно, но многозначительно.

#### IV

Когда на другой день утром, чтобы вовремя вернуться в Севастополь, выехали они из Бахчисарая, то оба, даже и гораздо более серьезный Дебу, чувствовали себя в несколько приподнятом настроении.

— Странно, — сказал Смирницкий, — ведь едем мы с вами по существу в ад кромешный, где нас того и гляди или ухлопают за милую душу, или, на хороший конец, искалечат, а все кажется по привычке — «домой» едем!

— Да, как ни смешно, а правда, — согласился Дебу. — Именно «домой»!

— И как будто мы с удачной вылазки возвращаемся живы-невредимы, да еще и пленных ведем, черт возьми! Знай наших! А ведь сделали мы самое пустяковое дело: получили деньги, какие следовало получить,

и, между прочим, одного жулика бахчисарайского обжулили сами на малую толику ассигнаций... Чтобы других жуликов — севастопольских — этой малой толикой вознаградить.

— А за что именно вознаградить?

— Ну, уж известно, за что награждают! За труды и лишения боевой жизни.

— А с лошадьми нашими как теперь будет?

— Лошадям теперь какую крышка!.. Нам только придется писать в рапортчиках, что от сапа да от сибирки задрали ноги... или еще там от какого-нибудь застоя мочи... Это, конечно, в том случае, если уж никак нельзя будет свалить на орудия и пули союзников.

— И говорите вы это совсем без тени возмущения?

— Нет, про себя-то я возмущаюсь, незаметно для вас, да ведь знаю же я, что это ничему не поможет: плетью обуха не перешибешь... *A la guerre comte a la guerre.* Я убежден, что у союзников так же все направо и налево воруют, как и у нас... Если привыкли воровать в мирное время, то уж в военное что же спрашивать и с кого? На войне, как на пожаре. А солдаты и молодежь офицерская...

— И лошади, — вставил поспешно Дебу.

— И лошади — эти отдуваются своими боками.

Дебу вспомнил то, что записывал в свою тетрадь несколько дней назад, но промолчал об этом.

Дорога была не только невылазно грязна, но еще и сильно зловонна местами, так как кое-где застряли в грязи вместе с повозками и не были вытащены волы и лошади. А однажды были изумлены охотники за деньгами очень знакомым по Севастополю взрывом бомбы, хотя здесь, в степи, ей, конечно, неоткуда было взяться.

Это и не бомба была: это взорвалась раздувшаяся туша огромного погибшего в грязи вола.

— Вот еще что можно писать о подохших от голода лошадях в рапортчиках, — сказал Смирницкий, — «Потонули на дороге между Севастополем и Симферополем». К этому поди-ка кто-нибудь придерись! Причина вполне законная и бесспорная.

Чем ближе подвигались к осажденному городу, тем торжественнее и зловещее гремела канонада, завершая свой рабочий день. А потом

стали уж различаться в темнеющем небе конгревовы ракеты и бомбы по своим огненным письмам.

Ноябрьский вечер нес с собой мозглый, пробирающий до костей холод и томительное сознание того, что героический период войны закончился и начались долгие будни тяжелой зимы в обоих одинаково сильных крепостях — осажденной и осаждающей.

1937 г.